



Никита Немцев

Русский Биттл

4:20

# Никита Немцев Русский бунт

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=50762470](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=50762470)

ISBN 9785449823205

## Аннотация

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Неловко влюблённый, облажавшийся в музыкальной карьере, Шелобей сидит и варится в котле Москвы. У него есть друзья, но они такие же затюканные жизнью романтики и алкоголики, так и не выросшие оболтусы и думальщики. Всё меняется, когда Шелобей выходит в подъезд покурить на шкафу и встречает там Толю Дёрнова: странный пацан, помешанный на Внутренней Сибири и анархии, возвращает давно забытый дух бунта. Всё меняется. Или ничего не меняется? Книга содержит нецензурную брань.

# Содержание

БЕССМЫСЛЕННЫЙ	5
I	5
II	15
БЕЗДЕЛЯ И СОМНЕНИЯ ШЕЛОБЕЯ, ОБОЛТУСА	16
3	17
4	25
III	26
IV	37
V	47
VI	64
VII	81
Конец ознакомительного фрагмента.	89

# Русский бунт

## Никита Немцев

*Дизайнер обложки* Павел Кондратенко

© Никита Немцев, 2020

© Павел Кондратенко, дизайн обложки, 2020

ISBN 978-5-4498-2320-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.

*Матф. 4:20*

# БЕССМЫСЛЕННЫЙ

## I

Я стригу адвокатов, участковых, поэтов, рэперов, новобранцев (здесь, впрочем, немного труда), панков, музейщиц, мужей-рогоносцев, всеми обиженных дам, тапёров, компьютерщиков, детей, наркоманов, бомжей, бильярдистов, атеистов, Шелобея...

Отличный парень, кстати: драгоценная душа и лохматая башка. Вот, заходит опять. Сутулый, джинсы вздулись на коленках, осеннее пальто посинело от досады, нос всхлипывает, клокастая борода ушла на прогулку влево, на голове – гнездо невиданной птицы.

Руку пожимает. (У него тусклый взгляд.)

– Ты от плиты, что ли, прикуривал? – Я улыбаюсь ему в бороду. – Давай подравняю.

– Ну попробуй, чё. – Он расстёгивает разболтанные пуговицы.

Это была суббота. Шелобей написал мне: «Подруливай к Дому книги, потолкуем». Я приехал к нему на Новый Арбат – и пошагали. Говорили всякий вздор и ёжились. Шелобей отдал мне свой шарф и глухо застегнулся: на его голове сидела отменная будёновка.

Вечер фиолетовел. Москва, наконец, распоясалась – ряздлась во всё белое. Пока шли по Новому Арбату, пышно розовеющему на углу со Старым (здоровенный экран давал и рекламу, и свет), – мы, рассовав руки по карманам, видели, как пухнет первый снег, мокро оседая на тротуаре.

Какие-то слова всё мялись у Шелобей на губах, а он их не говорил.

– Ты читал Борхеса? – спрашивает Шелобей, откинувшись в кресле.

– Не очень. – Я просто намыливаю ему подбородок.

– Он писал как-то, что ад – это невозможность осознать, что мы уже в раю. Сомнение – вот чё такое грехопадение. Рай внатуре есть или нет? – Шелобей закачал подбородком (между прочим, мешает).

– Стелькин то же самое говорил. – (Препод наш.)

– Ну да, ну да...

Подружились мы ещё в детстве (в Красноярске): я вышел во двор сам – впервые: Шелобей стоял на горке и стучал палкой по перилам, изображая всеми брошенного, но не сдающегося атамана. Я ходил вокруг него минут десять, а потом подошёл и сказал: «Давай дружить?».

Вместе переехали в Москву, вместе поступили на филфак, были – два друга-филолоха. Как выпустились – разбежались кто куда: но только не в филологию. Я решил, что волосы всегда будут расти. Шелобей решил, что книжки ещё сколько-то будут покупать.

От скуки Воздвиженки (особняк с пупырьками, башня Моссельпрома и Ленинка – не на что там смотреть) – сбегали в Знаменку (смотреть там тоже не на что). У голубой «Арбатской» (павильон – звёздочка) ребята с электрухами лабали «Батарейку».

– Интересно, им когда-нибудь надоест её играть? – Шелобей ухмыльнулся и отщёлкнул сигарету (уголёк нарисовал дугу).

Рядом колошматил палочками по коробкам безногий бомж: не слышно было почти ничего. Шелобей кивнул:

– Во, это я понимаю. Ваще нормал!

Облысевшие деревья, Гоголь, бульварный песок – всё мимо. Набегает тревожно-казённое здание, колоннами топоча, – оно тоже не навсегда. Узкий тротуар хвастает новизной асфальта. Расчихавшиеся фонари укутались в пластиковые шарфы. Машины бегут и оставляют за собой чёрную кашу. Белые точки носятся, налипая на пальто.

– Когда у Лиды день рождения, говоришь? – Я скребу по Шелобеевой шее опасной бритвой (фишка у нас такая).

– В эти выхи. – Он косит взгляд к бритве с нездоровым любопытством.

С Лидой они были вместе уже два года, а жили – врозь.

Перебежав дорогу и чуть не убитые, мы подошли к богато освещённому князю Владимиру и от души плюнули ему под ноги. Двинули к Кремлёвской стене (не то Азия, не то куча ракет со звёздами) – не к нарядному, как на базар, Алексан-

дровскому саду, а к холодной и сугробистой стене со стороны Москвы-реки.

– Лида за границу хочет! На ПМЖ! – Шелобей перекрикивал ветер.

– Пэ-Э-что? – Снег хлестал прямо в глаза: приходилось щуриться.

– Жить уехать! Навсегда!

– Куда? – Мы продолжали орать.

Ветер с реки рванул так, что нам пришлось повернуться и идти спиной. Я держался за шапку. Шелобей сщучился вдвое:

– В Израиль! Родня там у неё! Да это-то похер! Не поеду я никуда!

– Она тебя звала с собой?

Мимо шёл речной трамвай, весь в синих огнях. Там же – за рекой – дым стлался материком. Шелобей был совсем краснонос.

– Нет! Не звала!

Мы шли спиной и молчали. С реки донёсся насмешливый гудок.

– Так ты поговоришь с ней?

С бородой покончено. Шелобей сидит перед зеркалом в мантии, я расчёсываю его мокрые волосы:

– С кем?

– Ну... – Он смущается и шмыгает. – С Лидочкой...

– О чём? – Я натыкаюсь в зеркале на его взгляд. – А!..

Понял. Когда?

– Она же записана к тебе?

– Ну да. На неделе. – Я увожу взгляд от зеркала к гелям для укладки.

Вековая брусчатка зачернела под ногами, собор Василия Блаженного выплыл трогательной кучкой (просто яйца на Пасху). Красная площадь спряталась за забор, а за ним нагородила ещё один пёстрый заборчик – каток: или карусель? Вычерченный гирляндами ГУМ – будто нарисованный – подмигивал и звал нас на праздник. А мы отворачивались и угрюмо шли к Варварке, минуя дорогие леса и ландшафты Зарядья.

– Самое тупое, что я уже заранее всё придумал, – продолжал Шелобей с надутым безразличием. – Решу, что Лида дура, что никогда я её не любил, буду слушать «Люсю» Мамонова, лудить водочку, какую-нибудь хреномуть устройю – вот, мол, смотрите, я типа живой... Да блин! Я даже придумал, в каких словах себя буду жалеть!

– А что с группой твоей? – Я попытался отвлечь разговор.

Шелобей удивительно играл на гитаре (так я считал): хотя последнее время он удивительно не играл на ней.

– Да ребята не энтузиасты стали. Я и сам только бренчу. Времени как-то нет всё... А что главное – смысла нет.

Выбриваю виски, снимаю по бокам, пытаюсь сделать каскад. Голова Шелобея покорна – даже слишком. Присматриваюсь: его рубит. Я улыбаюсь и оглядываю расслабленные

черты: зелёные круги под глазами (у кого их нет?), молодые морщины, острые скулы, самодовольный нос, губы надменной формы, азиатский раскол бровей. Худой, как Игги Поп. Волосы – Моррисона: роскошные, жирными кудрями: чёрные, как ночью в поле: на ощупь – просто барашек! А голову не моет и не расчёсывается...

Я завистливо чешу свою жидкую шевелюру.

– Я не сплю... – мычит он, не разлепляя глаз.

– Да, конечно. – Я улыбаюсь.

Его лицо сводит. Понимаю, в чём дело: чешу ему правое ухо. Шелобей благодарно улыбается. И говорит (всё с закрытыми глазами):

– Вот ты скажи, чего все так по рэпу прутся? Новый панк-рок, тыры-пыры... – Он зевает по-печорински, не раскрывая рта. – Музыка нормальной нет вообще.

– Ну а Илья Мазо твой любимый?

– Он в авангард какой-то ухнул, ну. Светомузыка типа.

– Антон Рипатти?

– Да у него всего пять песен. Не, есть крутая тема – «ГШ» называются...

Прошёл замученный ребёнок со скрипкой, из переулочка выбежала орава пьяных ребят. Снег всё шёл, а фонари его любезно вырисовывали. У церковки перебежали дорогу к скверу: там стоял давно припаркованный уснеженный «Жигуль». Шелобей средним пальцем стал писать: «ТЫ СУПЕР!», – но, как всегда, когда пишешь по снегу капота, ме-

ста не хватило, последние буквы скукожились. Шелобей рас- смеялся и закурил новую.

– А где-то весело... – Он смотрел на галдяще-курящую толпу у «Китайского Лётчика Джао Да».

Я зачерпнул снег с машины – и швырнул в Шелобея солид- ный снаряд. Пуф! Шелобей – с мокрым лицом – сжал губы и оскорблённо выпучил глаза. У него выпала сигарета! Решительно, это дуэль!

Мы расходились на двадцать шагов и сходились, стреляя иногда на барьере, иногда на ходу. Падали навзничь и сме- ялись. Один снежок угодил в усатого мужика с клетчатым шарфом и портфелем.

– Из... из... – Шелобей дышал с надсадом, – из-вините.

– А где празднество будет проходить? – спрашиваю его. Уже филирую ножничками с расчёской.

– У Лиды, ясен хер.

– Она с подругой снимает?

– Не, она у друзей вписалась. Месяц второй, что ли, жи- вёт.

Сам Шелобей квартиру снимал – вернее, комнату.

Вернулись к раскрасневшейся церкви – хромой узбек, семеня костылями, просил милостыню. Мимо шёл парень в спортивках и пуховике, выпрашивая у людей сигарету. Нищий узбек выпрямился, выудил пачку из кармана и гром- ко крикнул:

– На! Держи!

Стрелок в спортинках не заметил его и ушёл дальше про-  
сить. Узбек повторил:

– Да держи ты!

Его опять не заметили. Узбек захлопнул пачку и горько констатировал:

– Гордый!

Мы поднимались в горку по Забелина, отважно минуя рю-  
мочную, где можно весело стоять, навалившись на круглый  
столик локтями. Улочка была почти вся пешеходная, но как-  
то юрко в неё втиснулся спешащий автозак.

– Мне кажется, что мой сосед – террорист, – сказал Шелобей внезапно.

– Это бурят который?

Сколько я помнил, Шелобей снимал с безобидным бурят-  
том, который был настолько безобиден, что сам первый на-  
чинал прикалываться: «Вам не кажется, что я похож на Вик-  
тора Цоя?»

– Не. К нам ещё один въехал, – сказал Шелобей.

– У вас же однушка?

– Ну. Я на кухне теперь сплю.

Фен шумит и завывает. Я досушиваю волосы, уклады-  
ваю их гелем: на голове Шелобея теперь большая волна  
с японской гравюры: косматая и непокорная. Освободив-  
шись от мантии, Шелобей тут же растрёпывает мой шедевр.

Он расплачивается и пожимает мне руку:

– Так ты поговоришь с ней?

– Угу.

И – исчезает.

Дойдя до подслеповатой стены Ивановского монастыря (когда-то в нём сидели Тараканова и Салтычиха, при Советах исправдом был – из одного здания до сих пор МВДшников выгнать не могут), – мы повернули в сквер Мандельштама. Две тётки в норках стояли и разглядывали памятник: бронзовая голова – нос кверху задрала.

Одна из тёток громко шмыгнула и сказала с чувством:

– Загубили парня!..

Поохав вдосталь, они ушли. Мы с Шелобеем неприлично долго ржали. Уже давно отсмеялись и переглядывались подурачки, – а всё равно это «загубили!» из ума не шло.

За головой Мандельштама красовался кусок жёлтого дома – вернее, кусок крыши (тут же горка): рукой можно достать. Справа её зачем-то венчала колючая проволока, а левой половине – не досталось.

Мы подошли к Мандельштаму, заглянули ему в ноздри и продолжили молчать.

Скамеек тут не было.

– Слушай, – вспомнил я. – А чего ты про террориста вдруг решил?

– Да не знаю я. Мутный тип. Вернее – душный тип, во!.. Ему что ни рассказывай, весь такой типа радушие, а в глазах чернота. С Кавказа он. Иногда к нему ещё друг приходит, и они запираются фиг знает, на сколько...

– Ну так террористы отдельно бы сняли.

– Да понятно. Это я так. – Он зевнул, прикрыв рот перчаткой. – Просто хочется, чтоб уж хоть чё-нибудь произошло – вот и придумываешь...

Шелобей озябло расхаживал вокруг Мандельштама, читая стихи на постаменте. Я водил взглядом. Там – облупленная стена монастыря, тут – заборчик, на котором скурвились жёлтые листья... А если подняться дальше, зайти в Морозовский садик – великолепный купол выгянет флорентийцем: бронзовый, как рыба чешуя...

Пальцы ног покусывает холод.

– Так что ты думаешь? – Шелобей стаёт прямо за моей спиной.

– Про террористов? – Я оборачиваюсь медленно.

– Про Лиду.

Шелобей смотрит на меня заспанным мулом. Секунду. Две. Вдруг он снимает свою будёновку и принимается исто-во чесать репу.

– Думаю, тебе надо подстричься.

## II

Я чувствовал себя глупо. Не знаю, почему. Просто – глупое настроение.

Играла седьмая симфония Бетховена, лампочка безразлично себе горела, шторы грифельного цвета обнимались и нежно перешёптывались (сквозняк). Не сказать, чтобы я упал (кроме Шелобоя клиентов толком не было), – а устал нечеловечески. Лежал на диване и изучал потолок.

Тут мне с чего-то приспичило порыться в столе, повывесывать хлам: жёлудь из Серебряного бора, квитанция об уплате штрафа за распитие, свисток-крокодил (керамический), непонятная женская перчатка (почему-то одна), ворох конспектов – всё вздор.

Внезапно. Да-да, внезапно. Я вытащил из ящика липово-орехового цвета стопку какой-то замызганной распечатки (как будто на ней воблу ели). Сверху, над циферкой «один», было выведено шелудиво:

# **БЕЗДЕЛЬЯ И СОМНЕНИЯ ШЕЛОБЕЯ, ОБОЛТУСА**

Я смутно припоминал... Улыбка, не спросясь, полезла на лицо.

Я отлистнул наугад.

### 3

Сидели в какой-то безродной столовой в центре Москвы: Шелобей Всесвятский и Лида Шкапская.

Впрочем, фамилии у них у обоих были крайне неуместные. Ни о какой «святскости» Шелобея (а уж тем более «все») и речи быть не могло. Ну а Лидочка меньше всего имела общего с неподвижным, суровым, бабушкиным – намертво заваленным книгами, гжелью, иконами, шишками и прочей всячиной шкапом.

Лида была барышня подвижная и развесёлая. Временами. Иногда – серьёзная, с дрожащею губкою: но оттого не менее прекрасная.

Шелобей любил, как от неё пахнет духами и табаком (не то чернослив, не то печенье, не то смородина, не то сирень), любил дикий бирюзовый цвет её волос (с приливами, отливами, аквалангистами, на дне этого моря чего-то ищущими), любил, как она держит руки у рта (ловя смех, нечаянное слово и всё, что может вылететь из её недостаточно сдержанных губ) – одним словом, любил Шелобей Лиду. А та, украдкой отвечая ему взаимностью, считала, что уж слишком Шелобей спешит: слишком торопыгствует. И понимает, Лидочка была права! Шелобей успел уже десять раз влюбиться, семь раз разлюбить (не в другую какую, а в одну только Лидочку), сорок семь раз умереть от восторгов, запла-

кать по ночам шесть вёдер счастливых слёз, написать пятнадцать сонетов к ней, восемнадцать порвать, два переписать – да и придумать, как они поедут в Сербию в свадебное путешествие (а в Подмосковье Шелобей решил им дачу прикупить: деньги только достать надо, но ничего, ограбит ломбард; на даче отопления, конечно, ни фиги, – но зато коз разводить можно); он уже сочинил биографию их первенца, их второго ребёнка, их третьего, их деток, деток их деток – и так до восьмого или девятого колена. И всё это абсолютно искренне и серьёзно!

Общались они всего месяц, – но совершенно волшебным образом.

И вот они милейшим образом гуляли по развесневшейся Москве (веснушки в окнах!). Гуляли-гуляли – и в эту столовую загулялись.

Лида пыталась жевать котлету, но только смеялась какой-то мышкой:

– Нет, ну я не могу! Ты что с бородой-то всё-таки сделал?

Шелобей провёл рукой по подбородку. В сердцах, он ночью выстриг середину – так и оставалось: просека стелется и клыки торчат.

– Да это так. Ерунда, – махнул Шелобей небрежно. – А чего ты вчера писала, что видеть никого не хочешь?

Лида торговала пирожками (беспонтовыми): сама пекла, а потом – вот. Последнее время не клеилось: она хаживала к кришнаитам, где слушала мантру-другую в надежде на бесплатный обед.

«Ужасно всё, Шелобей! Жрать нечего».

– Да так, ерунда. Ездила просто в гости к другу. Вселенские вопросы обсуждали и пиво пили.

«Какое пиво, Лид? Тебе жрать, поди, нечего!»

– А. Пиво это хорошо. И друзья – хорошо... Да.

Шелобей был немного рассеян (то есть, сосредоточен, но не на том). Помолчав, он оглядел свою половину стола – пустую, без подноса (на дачу в Подмоскowie уже пора копить!) – и прибавил задумчиво:

– У меня что-то типа того было, знаешь... Сначала кикимора нагадала, потом друг с моста прыгал... И я вот что обнаружил...

С шелестом, Шелобей достал из кармана листочек с тире.

– Это что, мой листочек? – На бровях Лиды повис скепсис.

– Ага. От бумажек твоих самокруточных. Я в карман сунул... Ну. Чтоб мусора не было. – Шелобей покраснел (разумеется, бумажка была талисманом и трогательным напоминанием о Лидочке). – Нет, ты скажи лучше, – прибавил он горячно, – ты зачем здесь тире нарисовала?

– Так. Так. Это пятница была, ты пришёл ко мне на лекции... – Лида задумалась. – Значит-значит-значит... А! Так я просто ручку проверяла.

Шелобей скис и уставился в стол. Лидочка носиком нарисовала в воздухе вопросительный знак. Шелобей не заметил, а всё равно стал отвечать:

– Понимаешь, Лид... Это тире досталось мне при до-

вольно загадочных обстоятельствах... Мы с Елисеем сидели на кухне – уже после прыжка с моста – и вдруг накатила такая решительная и невыносимая тоска...

– Шелобей, Бога ради, объясни мне, что случилось с Елисеем?? И что за кикимора? Она с вами прыгала?

– Да кикимора не там... Слушай, ты доела? Может, я на улице доскажу?

Лида согласно закивала, и столовая очутилась позади.

Арбат жёг по глазам солнцем и хорошим настроением: художники продавали картины, книгоноши – книги, стена Цоя – требовала перемен. Было так многолюдно, что если крепко прищуриться, могло показаться, что дело происходит где-то на курорте.

Они устроились на скамейке, и Шелобей рассказал прыжок Елисея.

– Ну и дурак, – отозвалась Лида и тут же бросилась на суть: – А что с бумажкой-то?

Мимо проходил негр и зазывал всех в какое-то кафе: «Вери-вери вкусно, ням-ням». Он пристал к Лиде и стрельнул самокруточку (подхихикнув: «Мариуанна, хе-хе-хе?»), стал заливать про Боба Марли. Лида улыбалась, улыбалась, а потом взглядом сказала: «Прощайте».

Они снова оказались одни.

– Ну?! – Лиду корёжило от любопытства.

– И я подумал тогда... – говорил Шелобей неторопливо. – Слушай, всё никак не соображу, как рассказывать. Можно

мне самокруточку?

– Так. Я сама скручу, а ты давай мысль закончи.

– Ладно. Бумажка. Тире. Мы вычитали на ней тире! – нашёл хоть какие-то слова Шелобей. – Вычитали, значит, и я подумал, что это неспроста. Всю ночь лежал и думал. Листал Стерна, Шкловского, Цветаеву. Грамматику листал. И, в общем, пришёл я к выводу, что тут постылый ребус бытия разгадан! – Шелобей сам нарадоваться не успевал своему простодушному и скоростижному выводу. – Короче! Тире – это «короче»! Любая линия – просто набор тире... Это какой-то промежуток, зазор, центр, где ещё не «уже» и уже не «ещё». А я, выходит, должен его разгадать...

Говорил Шелобей и бойко, и живо – чем ни капли Лидочку не удивил. Удивил её предмет такого воодушевляющего оживления.

– Послушай, но... – начала она.

– А ты знаешь, что сирень уже цветёт? – перебил её Шелобей.

– Ништяк! Где?? – Все тире вылетели из её головы, и они пошли смотреть сирень – вон тут, не доходя до Сивцев Вражка.

Сирень так не нашли, зато нашли дворик, где качались на качелях: курили и прятали бычки в задний карман: говорили о правде, небе и далёких странах: в этом же дворе была карусель с крутилкой в середине (как бы штурвал) и сидущками – разумеется, они в неё запрыгнули: Шелобей кру-

тил штурвал – и раскручивал, раскручивал! всё смазлось – только Лидочка нет... нет, нет! всего мира не стало, – а лицо Лидочки осталось: в точках-родинках (это звёзды), в короткой бирюзовой стрижке (это лес), с карими глазами (это океаны), с орлиным носом (это утёс) и тонкими растрескавшимися губами (это – губы): сделалось так хорошо, что даже дурно, и Шелобей сказал:

– Ты чудо.

– А ты юдо. Вместе мы – чудо-юдо.

Скоро стало дурно через край – они остановили карусель. Мир вернулся, конечно, на место, но всё ещё весело пошатывался.

Шелобей рассказывал, как он раз в столовке украл котлету и сунул в карман. Лида рассказывала, как её в Индии грабанули. И ещё что-то, и ещё – они шагали. И как-то так прелестно им шагалось (даже окрашенная скамейка, отпечатавшаяся жёлтыми лихими пятнами, не могла испортить день), – что они не заметили, как оказались на вечерних Патриарших, всю Москву по кругу обойдя.

Сидели на парапете у водицы и разглядывали уток.

– А интересно, куда утки на зиму деваются? – спросила Лида немножко грустновато.

Шелобей смачно хлопнул себя по лбу и чуть не свалился в воду (Лида его поймала).

– Ты же про тире что-то хотела сказать! – вспомнил он.

– Точняк! – Лида хлопнула себя по коленке, но тут же

оправилась, достала кисет и заговорила осторожней: – Тебе... тебе не кажется, что это немножко походит на шизу? Что ты сейчас всё под тире подгоняешь?

– Шизу!?! – Шелобей подскочил от возмущения, но тут же сел. – А реплики почему в романах тире оформляются? А пропуски слов почему через тире? Это же переход к сути! А позвоночник человеческий – что такое, как не тире? Нет-нет! Меня не подкузьмишь! Я это дело разгадаю!

– Ладно, Шелобей, как скажешь. – Лидочка улыбнулась и утихомиривающим жестом протянула мастерскую самокрутку.

Людно было (Патриаршие и так обложены кафе и магазинами, но сегодня их как будто даже больше стало): на скамейке рядышком сгрудилась натуральная толпа. Алкоголь, смехá, гитара. Похоже на встречу выпускников. А скоро и Шелобей с Лидой выпустятся – тоже будут собираться... Или не будут?

Пока – сидели, глядя как в воде отражаются фонари, и чему-то бестолково радовались.

Зачем-то к ним подошёл затрёпаный чумазый мужчина (все зубы золотые). Представился автостопщиком, из Новосибирска, вот паспорт, если не верите. В Питер едет, с БГ хочет потолковать. Только денег нема: понимаете, на бухло всё ушло. Один подвезёт – и так грустно, так грустно, что непременно мерзавчик раздавить надо. Другой подвезёт – ещё шкалик. Ну, знаете, как бывает. Не подкинете пару

франков? А я вам стихи почитаю.

Шелобей косился на Лиду, та – на Шелобея (они оба крепнулись к воде, собираясь нырнуть если что). Но нет, им не удалось избежать поэзии.

Это была безудержно скверная и необъяснимо длинная поэма про коммунизм, алкоголизм и зону. Лида покраснела, а Шелобей заикаться стал:

– Во-во-возьмите.

Он протянул горсточку рублёвых монет. Лида докинула две самокрутки. Они встали и ушли, сгоняя онемение.

– Вот тебе и тиреист, блин, – проговорила Лидочка бледными губами, припоминая, как это – смеяться.

Автостопщик их расслышал:

– — Па-а-астойте, уважаемые! Но ведь тире – это палка о двух концах.

Тут Шелобей всё-таки свалился в воду.

## 4

А бородой своей Шелобей так не озаботился: так и ходил с клыками да просекой – пока не отросло.

Всё улыбаясь, я постучал стопку об стол и отхлебнул простывший чай. Взял на руки кошку Варьку (белая в чёрных пятнах – или наоборот) и покружил с ней по комнате. Улёгся с ней на диван – наглаживал и приговаривал, какая она хорошенькая. Потом мне надоело, и я сказал:

– Моя ненаглядная, милая, сдрисни, пожалуйста.

Она убежала. Зазвучала «Волшебная флейта».

Нет, я не чувствовал себя глупо. Я чувствовал себя очень-очень умно.

### III

Крутясь среди битников, музыкантов и наркоманов, Лида завела пропасть друзей (особенно, на кладбищах), – а вместе с ними и историй.

– ...И вот вваливаются туда мусора... – Речь шла о притоне где-то на «Полянке», вернее, это был подставной притон, настоящий – располагался в подвале через дорогу, его держали чечены, которые взяли в плен дочку одного из ментов, так что тем ничего не оставалось, кроме как организовать свой притон, чтобы переманивать клиентуру, шантажировать чечен и устраивать налёты, так вот, дело происходило в настоящем притоне, где ошивался Лукич, Лидин друг, которого она пришла звать играть в «Сегу». – Влетают, всех мордой в пол, орут: «Кокаин, героин, наркотики – где?». А Лукич стоит у стенки, ржёт. Менты ему: «Чё ржёшь? Весело тебе, да?» А он аккуратно такой достаёт правый глаз и водит им по сторонам: «Сейчас-то мы посмотрим, где эти наркоманы!» Никто же, блин, не знал, что глаз у него вставной. Но это ещё фигня. Настоящий атас начался, когда подъехал Метадон Кихот...

Эту историю я слышал уже в пятый раз.

Её лицо напоминало водопад: постоянное движение, непрерывный поток: глаз следит за одной деталью, за одной эмоцией – она уже улетела: глаз ловит другую, ловит тре-

тью, – но убегает и она.

Раз – карикатурная героиня мультфильма, не то белочка, не то птица, да нет же, утка! Это утка, ко... Два – обиженная Джульетта Мазина детски надула губы и вот-вот ска... Три – древнегреческая богиня воздела кверху нос и обкусывает щёки изну... Глаза – серо-голубые... или же серо-зелёные? чтобы разгля... Губы – роскошные, налитые и полные тай... Нос – видный, несерьёзный и гордый... да какой же он гордый? он... нос... сон... кра...

Если же говорить о волосах, то Лида носила ладно сплетённые дреды (они пахли сладко и затхло) – их-то мы и красили теперь в рыжий цвет.

– А сегодня мне звонила женщина по имени Одиссея Петровна, прикинь? – (Лида работает в турагентстве.)

Провозились ужасно – два раза я сжёг ей волосы начисто: получался не янтарь, не оникс и не скромная календула, а какой-то колбасный цвет. Но Лида не огорчалась, не мешала и всё рассказывала.

Автостопы, крыши, походы, горы, жизнь в палатке, в лесах, в пустыне, на Крайнем Севере, на Камчатке, в Ростове, музыкальные фестивали, где можно целый день идти и не дойти до края – всё это было. Пять лет назад. Три года назад. Два.

– Вчера попробовала пива выпить. Ну – думаю – совсем я старуха, что ли, пиво не осилю? – Она сидела с полотенцем на голове и кофе в руках. – Две бутылки, ничего же не слу-

чится?.. Ага! Блевала дальше, чем видела! – Она коснулась чашки губами. – «Господь мне здоровье дал, а я его – про-срал».

Я отпросился с работы, чтобы пройтись немного с Лидой. Мы шли по Бибирево, всё дальше и дальше уходя от салона красоты «Надежда».

– Ненавижу зимнюю Москву, – поморщила нос она. – Обязательно смоюсь на Новый год.

Раззимело: под ногами черно и хлюпает. Ленивый, как бы неохотный снег – падает и тут же тает от бессилия. Серые многоэтажки наступают, серый асфальт проглядывает тут и там, серые лужи вздрагивают, серо-серые окна, осерённое серостью небо, иссера-серые лица. Бибирево – столица серо-го цвета.

– Давай, что ли, в центр? – предлагает она.

Я невольно киваю. Лида продолжает вспоминать что-то своё:

– ...Ну да. А когда мы понимали, что человек вот-вот отъедет, мы выносили его в подъезд и вызывали «скорую». Веществ-то полон рот, а присесть никто не хочет.

– Жёстко.

– Во-во! Но некоторых даже спасли. – Она подняла пальчик.

Убогий, угрюмый, ненужный простор вокруг – разостлался. Вон – двое пьянчужек мило привалились в беседке и курят. Дворами на Костромскую – там семиглавый храм, от-

строенный бывшим бандитом во очищение души: синие и золотые вязаные шапки: дылда, крепыш и двое на подхвате – башенки напоминают братков. А там – во-о-он там, за жэдэшкой, – вот-вот вздыбятся красно-белые заводские трубы, изрыгающие бесконечные облака. И снег – под этим тускляющим небосводом – то сумрачно оседает, то лупит по лицу. Он пепельно-сер – как будто Господь затушил сигарету.

Показалась красная «М».

– Ненавижу метро, – бросила Лида и спрятала шею.

Стеклянные двери, сшибающие ветром, обыскивающие лица работников, антитеррористические рамки – всё это правда неприветливо.

Мы спускаемся на эскалаторе: Лида стоит ступенькой выше, я еду спиной. Она отболталась – молчим неловко. Приходится говорить мне:

– Шелобей как-то мысль бросил, что Московское метро – это соборность по-советски: всем тесно, всем плохо, у каждого во рту нога его соседа. А искусство – на службе у народа... Ну, станции, то есть.

– Ну да, – говорит она и отстукивает ноготками по поручню. – Не люблю «совок».

Эскалатор кончился, поезд подошёл: вагон гудел и дребезжал. Мы стояли, забившись в угол, и слушали Лидины наушники (хороший способ не говорить и не пялиться в душные лица). Какой-то краут-рок – или типа того.

Вышли на Цветном бульваре – сразу на Садовое. Прощальные блики в окнах. Солнце, пока! Мы налево, ноги просятся вправо. Поздно. Синие сумерки насупились.

Слева – стройлеса в гирлянде. Справа – бесполезная эстакада. Машины, пыхтя, стоят в пробке. Мы их обгоняем.

– Мне нужно зайти в магазин, – сказала Лида.

– Окей, – сказал я.

– «Мир музыки», Садово-Триумфальная, – сказала Лида.

– Почему не до «Чеховской»? – сказал я.

– Пройтись, – сказала Лида.

Мы шли.

Наш бойкий шаг по зимней каше разглядывают неважно-го вида дома. В центре – реагенты. В центре – лужи. В центре – бесснежье. Башня – впереди: неосталинизм из пластика зажигает огни: вдруг – верхушка становится красно-синим-белым флагом.

– Первый панк был Аввакум, – сказал я.

– Да ну. Он же чисто нифер, – сказала Лида.

– Ну тогда Христос, – сказал я.

– Ты чё. Христос был хиппарём. Не, я конечно понимаю: чем мы, хиппи, не панки... – сказала Лида. – Не люблю Москву зимой.

– Таковую никто не любит, – сказал я. (А сам подумал: «Вот бы зима не кончалась никогда».)

– Зимняя Москва – это ловушка, – сказала Лида.

Заговорили о Deseche Mode. Запахло говном. (Канализа-

ция.)

Пешеходы неслись по широкому тротуару на скоростях настоящего хайвэя. Большой Каретный, Лихов переулочек, Каретный ряд – школьники, побрякивая ранцами, обогнали нас.

– В среду буду говорить с раввином, – сказала Лида.

– О чём? – сказал я.

– Об эмиграции, – сказала Лида.

– Зачем? – сказал я.

– Жить хочу уехать, – сказала Лида.

– А Шелобей? – сказал я. – Осторожнее на переходе!

Желтобокое таксо пронеслось безоглядно.

– Если хочет, – сказала Лида. – Если хочет – вместе поедем.

– Ты ему об этом говорила? – сказал я.

– Нет, – сказала Лида. – Это же очевидно, – сказала она.

Чёрный слепок шины на асфальте. Профиль Лиды трёт нос и чихает.

– А в том переходе мы амфетамин варили, – сказала Лида.

– Да ладно? – сказал я.

– Ну да, – сказала Лида. – Всё было, а варить негде – пришли сюда: сели, прикрывшись картонками.

Я не поверил, но не сказал.

Забегали в «Мир музыки». Нам нужно казу! Здесь вообще-то не зоомагазин! Дудочку казу! Что же вы сразу не сказали? Спешим! Куда мы спешим, Лида? Потом скажу!

– Лид, я ж ненадолго отпросился, – сказал я.

– Не ссы, – сказала она.

Толстый лысый дядька, идя мимо роялей, уже несёт ей дудочку странной формы: эсминец с приделанным раструбом: ка-зу.

Выбегаем на улицу. Снег перестал. Машины едут и матерятся.

– Точняк! Мне ж Пузу джойстик отдать надо! – сказала Лида.

– Какому Пузу? – сказал я.

Пузо ждал на Пушкинской площади. Мы были в километре от неё. Велосипеда под рукой не оказалось – ломанулись через переулки.

Печально длинный бирюзовый дом: один этаж. На подкрышке – сосульки расплакались. Поворот. Проход. Ещё поворот. Везде одно и то же: путаный клубок и хаос домов.

– Мы заблудились, Эл! – сказал Лида.

– Не бойсь! – сказал я.

Обломки красного лезлого кирпича – что-то сносили. На боку дома незакрашенными кирпичами нарисован уже снесённый корпус: башенкой. Где-то у её глотки – граффити: ЗАЧЕМ?

Постояли.

Посмотрели.

Низачем. Дальше!

Старопименовский переулок.

– А что с работой? – сказал я.

– Работа – такое барахло, – сказала Лида.

– В смысле? – сказал я.

– Заработать денег на отпуск, заработать денег на пенсию, заработать денег на гроб, – сказала Лида. – Угар, ага.

– Такие дела, как сказал бы Воннегут, – сказал я.

– Ты вообще не работай, – сказала Лида. – От этого появляются деньги, – сказала она. – А с ними – несчастье.

В двух шагах от нас – убегала Тверская. Москва – циферблат часов на волосатой руке сомнительного господина: Тверская – минутная стрелка, Арбат – часовая. И тянется стрелка поджарая – крутится, спешит! спешит жить, раскидывает по бокам магазины, прохожих, гоняет туда-сюда дорогие, дешёвые автомобили; особняки, товарищи, снобы-модернисты – такие дома.

Фонари зажглись украдкой: гирлянды развисли по ним – да это же бокалы медовухи! – нам некогда пить.

У похожего на аккордеон дома «Известий» нас поджидал Пузо. Глаза красные, борода безобразная, сам – тоньше, чем спичка. Он закатывал рукава и штанины, снимал шапку и снова надевал, – не прекращая, он чесался, самым основательным образом.

– Ты чего чешешься? – сказала Лида.

– Давно не мылся, – сказал Пузо.

Лида всучила ему одолженный когда-то сто пятьдесят лет назад джойстик, схватила меня за руку и потанцевала даль-

ше.

– А давай на качели, на «Маяковской»? – сказала она.

– Лида!.. – попытался сказать я.

Через дорогу от нас старички играли сёрф.

Огромные, неуклюжие качели – напротив консерватории.

Памятник Маяковского раньше не был такой огорошенный: поставили качели – стал.

Даже оказались свободные. Раскачиваемся сильно и весело. Вдруг – ноги задраны кверху. Падаем, падаем! Бух! Прямо на спину. Смеёмся.

Дальше.

Теперь в синагогу. Знакомыми переулками – не попасть на Патриаршие! только не на Патриаршие! – (там скука) – выходим к Большой Бронной. Студенты спросили, как пройти к легендарной чебуречной на «Тверской». Вот так, вон туда, а потом налево. Не за что!

– Мы с Пузом как-то на Байконур пролезли. Смотрели, как ракету пускают, – сказала Лида.

– Прикольно, – сказал я.

Красный свет, передышка (Лида никогда не идёт на красный свет; а вдруг дети? а как им объяснишь? что взрослым можно, а им нельзя? но опять ложь получается и как всегда). Водопад продолжает движение: она дует губы смешливо.

– Ну, рассказывай, – говорит Лида.

– Что рассказывать? – говорю я.

– Всё рассказывай, – говорит она.

Зелёный свет. Слава Богу, можно не рассказывать!

За пуленепробиваемым – с наклоном – стеклом спряталась звезда Давида: тут квартируют хасиды. Лида забежала и сказала ждать.

Я пинал камешек. В этих районах спуют деловитые люди с кейсами: у них можно стрельнуть «Кэмел» или «Парламент» – если повезёт. Хорошо, что не курю. Хорошо, что это в прошлом. Хорошо, что прошлое прошло. Прошло – и ничего не происходит.

Лида выбежала – двинулись дальше.

– Ты с раввином говорила? – сказал я.

– Нет, книжку купила, – сказала она.

– Какую? – сказал я.

– «Хасидские истории», – сказала она. – Мне вообще стрём говорить с раввином. У меня ж татуировки. А это как бы нельзя.

Особняк с готическими понтами, хилый ажурный домик... Здесь начинаются тихие, дряхлые районы. Мимо Шолом-Алейхема, в узкий, скупо освещённый проход. Жёлтая церковь, где Пушкин венчался. Ножовый переулок – маленькие солдатики на козырьке. Поварская – концертный зал: неземное «до» уносится вверх.

– Короче, у ребят дэрэ, мы поздравимся и пойдём, – сказала Лида.

– Подожди. Подожди. Стой, – сказал я.

Хлебный переулок, самый его конец. Стоять у двухэтаж-

ных сизых домиков, прямо на проезжей части (машины тут не ездят – брезгают): возле Исландского посольства и непонятного бетонного гроба, взглядом следуя за вихором нане-сённого на мокрую дорогу снега, – наткаться на сталинскую высотку, густо пожелтевшую, чёрным небом объятую. И тишина. И далёкие отзвуки голосов, машин, музыки. Как будто кто-то заводит граммофон. Как будто очень старая Москва. А оглянуться – там перспектива фонарей и старичок с старушкой, дрожа, переходят дорогу.

– Если бы палатку можно было ставить не в поле, а в секунде – я бы поставила её прямо здесь. – Лида улыбалась. – Хорошо же не работать?

– Хорошо, – сказал я.

И понеслись.

## IV

Давно не нападала я на мысль, чтоб написать к тебе, мой милый, милый друг. А кажется – писать и не об чем. Тоска всё, глушь, да всполохи чего-то ещё более безнадежно-го. Жалобами херить дружбу – возвышенности мало, событий же, чтоб поразвлечь тебя, я предложить и вовсе не могу, Петербург на удивление скучный город. Но вот – решилась поразмять перо с твоего любезного (пусть молчаливого) согласия.

Я, наверное, писала, что стала ловить себя на мысли – нет, ощущении, – что мне неинтересно засыпать. Я написала всё не так: нет, просыпаться мне нисколько не интересней. С самого начала весь день прочерчен и отвратительно ясен. Прогулка до Академии, несколько безотрадных часов за партой, а после – работа. Ещё есть выходные, но вернее было бы говорить об их отсутствии – ведь всё «свободное» время поглощает учёба. Ах, если б можно было так добиться, то я вечно бы гуляла да рисовала (в этом отношении, я, можно сказать, фланёр) и ничего сверх этого не надо. Ты же знаешь, я некутящий человек. Хотя давеча изволили вытащить вот-с.

Ты уже, чай, забыл, но угол я нанимаю всё там же: на пересечении Гражданской улицы и Столярного переулка. Это удивительное место – других таких в Петербурге нет, говорю тебе самым ответственным образом. Что, по-твоему, такое

Петербург? Прямые стрелы проспектов и роскошь покорённых просматриваемых пространств. Моя же лачуга (будем называть вещи своими именами) уместилась в единственном на весь Петербург месте, где, ежели встать на перекрёстке, при взгляде на любую из сторон глаз упирается в тупик домов. Суший каменный мешок! Добавь к этому свинцовые облака, низкорослую неумытую архитектуру квартала – и уверишься, что верёвка с мылом далеко не худшая из перспектив (не волнуйся, я уже давно решила сей вопрос отрицательным образом; да ты, впрочем, знаешь). Вдосталь к тому путь до Академии немногим короче Ломоносовских вояжей – до Таврического и даже далее (после тех ужасных терактов в метро передвигаюсь я исключительно пешком; а впрочем, иногда соглашаюсь на трамвай). Не буду хотя лукавить – вся невыгода моего места жительства отлично искупается очаровательной столовой, что напротив «Дикси». Завтраки мои редко обходятся дороже ста рублей... Но эти подробности в обиду москвичу, прости.

И всё равно, люблю Петербург и ни на что другое его не обменяю. Пусть ложь, пусть обман, пусть не то, чем кажется, – а всё-таки люблю. Идти каналом Грибоедова люблю: следовать его задумчивым изгибом, весело поглядывать за оградку на лучистые блики отражений в чёрной неприветливой воде. Читать книжку на скамеечке в Нескучном люблю. Стоять на Стрелке, где-нибудь осенью и от морской красной колонны спуститься к воде, разглядывать: Нева ёжится,

колышется, ленится просыпаться; вместо неба – живот белой кошки (нежный и с розовым); над Петропавловской – чинный разлёт воронов, а из-за так и не выросших за сотни лет домов прорезается утро. Или тут же – в двух шагах – меж строгих логарифмических линеек Васильевского острова, приютился двор-колодец, куда всегда приятно заявиться: а там дома сбились в кучу в жалкой попытке согреться – серый отец, розовый малыш и бежевая мама...

Да, всё это стоит жизни, милый мой. Но если принесёт тебя опять нелёгкая в наш север, не поддавайся уговорам бабушек, что торгуют носки и сигареты, не обольщайся пышностью проспекта, не влюбляйся в кротость переулочков, не свешивай через забор к воде канала свой любопытный нос! Весь Петербург – один сплошной пьяный немец и больше ничего.

(Увлелась весьма, прости.)

Так про кутёж. Случился день рождения одного из наших: забияка и повеса, каких ещё надобно поискать. На всякий случай (он выглядит многообещающим молодым человеком) сохранию его инкогнито и умолчу фамилию: буду писать попросту – Борис. Я была согласна на привычный распорядок: вялый кивок однокашникам, движение ручкой и быстрые шаги прочь по набережной. Но пресловутый Борис вцепился мне в воротник:

– Таня, блин! Первый раз в жизни о чём-то прошу!

Я напомнила ему про ручку на экзамене, Борис задушевно

посмеялся, но воротника не отпустил. Ты знаешь нашу зиму: ветер гулял из самых лютых, так что без воротника мне было никак нельзя – я согласилась.

– Но только если соизволите позвать также и Артёма, – прибавила я, заметя, что Артём виновато сложил руки перед собою (всё это происходило на крыльце).

– Уж соизволим, сударыня! – Борис отвесил мне поклон.

Непонятной и странной гурьбою в шесть человек, состоявшей из привычной компании Бориса и странного неуклюжего довеска в виде нас с Артёмом, мы вышли на Шпалерную, а после и на Литейный проспект. Мрамор домов сопровождал наш нестройный шаг, вечер смутно и бессмысленно стремился к ночи. Я не участвовала в общем разговоре (хотя иной раз молодые люди старались явно для меня) и только разглядывала досужие вывески. Попадались и забавные...

– ...А я ему говорю: «Место мусора – в мусоропроводе», – кто-то из наших окончил анекдот, поднялась волна смеха.

Тротуары скользят, грязные и узкие от автомашин, спины моих однокурсников сутулые и пухлые от неуклюжих курток. Истории Бориса едва долетают до моих ушей. Луна, утирая платком лоб, выходит из-за туч.

Я шла самой настоящей изгнанницей, держа руки в карманах, и всё поджидала поворота на Пестеля, чтобы сказатьсь больной и покинуть недрузей. Когда же поворот настал – я ощутила странное смирение, даже сказать, почувствовала, что проиграла. Я вдруг поддалась капризу посмотреть, что

будет далее, и уже не мешала ногам нести меня вперёд, вместе с ними, до улицы Жуковского и заведения «Синий Пушкин».

Внутри пьяные люди толклись в суматохе, и кто-то даже пел караоке (странная забава). Супротив наших воль, меня и Артёма уболтали выпить по рюмке коктейля «Боярский» (вынуждена признать, это было совсем даже неплохо). Сам именинник пропустил три или четыре рюмки (воскликнув на последней: «Тысяча чертей!») и наша компания, малость пошатываясь, стала искать дороги на улицу. В магазине мы прикупили литр чего-то крепкого и сладкого (с угрожающим оленем на этикетке) и уселись распивать на скамейке прямо под затылком Маяковского.

– А как закончите – куда срулить думаете? – спросил Борис в пышной куртке у всех, отправляя бутылку по кругу.

– Да дальше служить, чё, – отвечал один, прилепляясь губами к горлу.

– А у меня у бати типография, – сказал другой, как бы похваляясь.

– Эх-ма! – заявил Артём мечтательно (но только очень тихо).

Я вглядывалась в затылок Маяковского, курила чью-то сигарету (ты знаешь, я это не люблю) и водила сапожком по си- зому песку.

В паутине проводов над нами раскачивался фонарь.

– Царю-батюшке служить? – спросил Борис (довольно лу-

каво).

– А кому ещё? – бросил кто-то.

Я зачем-то представила себе освещённый штык Адмиралтейства...

– Ну как же. Себе. – Борис всё улыбался.

К нам подошли полицейские (бутылок никто не таил). Разглядев наши студенческие, заулыбались и попросили уйти куда-нибудь ещё. А то дети, коляски – и всё прочее, что говорится в подобных случаях. Нужды упрашивать нас не было – бутылки звенели последними глотками.

Названия и адреса следующего заведения не упомяну, но там я пила самбуку, а также вдыхала её пары (премилая вещь!). Ещё зашли куда-то на улице Н—а и на улице Ч—а. Мы с Артёмом были немало поражены таким способом проведения досуга (Борис оглядывал нас покровительственно).

Потом... Да-да, потом нас принесло на Думскую (инфернальное место). Забившись в угол, я терроризировала Артёма беседой о Толстом.

Принципы мои остаются те же: искусство наше кончилось вместе с Серебряным веком. За всплеском равновеликих и равноталантливых (потому-то и не получается выделить кого-то одного) проследовала глухая и чёрная пустота. Да, несколько звёзд продолжали свой путь по стилому небосводу, – но непростительно короток был их путь (если не биографически, то художественно). Читала я современные романы... Не понимаю я их. Немного Сорокина, немно-

го Пелевина – как будто картонку прожевала...

– Для меня Толстой слишком жёсткий, – говорил мне Артём, настолько захмелевший, чтобы начать говорить. – Я прям проваливаюсь в этих персонажей, в эти описания... И так жалко становится... Не, лучше вообще не читать – реально тебе говорю.

– Да пойми же ты, угловатый мой друг! – Выпитое понуждало к нежной фамильярности. – Сила искусства не в том, чтобы переноситься в миры, а в том, что можно поговорить с человеком, которому так же больно, как и тебе.

– Но мне не больно! Это Толстой воду мутит.

Меж нами вклинился Борис и опёрся о наши плечи.

– Вы что – больные? Там двадцатилетние тёлочки и пацаны дэнсят, а вы тут о Толстом трёте??

– Борис, любезный, будем честны, что твои «тёлочки» и «пацаны», что наш Толстой – одинаково эфемерны и исполнены ложных надежд. Но Толстой, по крайней мере, не может так разочаровать и измучить.

Борис навалился нам на плечи и низко-низко опустил голову в смехе. Он заказал нам ещё по стакану и похлопал по моему плечу со словами:

– Блин, Тань, почему мы раньше не общались?

Пора расходиться давно уже приспела, однако ж мы с Борисом вышли на улицу покурить по совершенно излишней сигарете. Я его просвещала в вопросах литературы, он меня – в вопросах карьеры.

Кругом торжествовало неистовство. Некий молодой человек (довольно вшивого вида) пытался выменять у меня сигарету на салфетки, которые он, по собственному чистосердечному признанию, где-то украл, другой стоял подле нас и вдыхал воздух из белого шарика с явно безнравственными целями, третий без рубашки катался на голом асфальте и продолжал дикий танец (этот, признаюсь, даже напугал меня). Затем проехала длинная машина с навроде люка наверху, из которого торчала барышня в вульгарном платье. Она сперва кричала о том, как всех любит, а после запустила бутылкой шампанского невдалеке от нас с Борисом. Внезапно мне сделалось дурно, пусто и непонятно. Наскоро пожав Борису руку, я ещё раз поздравила его и поспешила ретироваться.

Из разу в раз я сама избираю одиночество, ты прав. Но подобный коллектив я нахожу лишь прискорбным.

Фу ты, пропасть! О столь пустяковом приключении написала уже три листа? Должно быть, я составила тебе страшную доuku! Прости, мой дорогой, – это всё кислое похмелье, от которого в приюте убогого чухонца и спастись некуда: тут хочется ловить отражения звёзд в лужах, улетать через форточку прочь и строчить многословные эпистолы. Не сердись же на меня, а лучше расскажи, как обстоят дела в Москве. Кутёж ваших пройдох достойнее, чем наших? Тоска у вас той же цветовой гаммы или, может статься, возможны градации? Я слышала, страна наша велика и депрес-

сивна...

P.S. А про Вагинова ты говоришь изрядную чушь. Писатель это не второго и даже не третьего ряда. Мало того, что он не умеет построить увлекательный сюжет, заменяя его маловразумительными посиделками, выпивками и прогулками под блёклые пейзажи Ленинграда, так он ещё и в изысках своих удивительно банален.

P.P.S. Странно. Кажется, я не люблю Москвы за то, что у вас не было блокады: так неудачливый старший брат не любит ушлого младшего. Согласна, всё это от меня очень далеко, но когда случается настоящая зима, когда снег и тридцатиградусная стужа – особенно с утра, – мне всё кажется, что город мёртвый, а куда ни ступи – везде кости человеческие. Тут и в себе мертвеца заподозрить недолго...

P.P.P.S. Ещё подумала: чтобы купить проезд в Москве петербуржцу нужно продать свою малую родину (разумею банкноты).

P.P.P.P.S. Небо такое синее-синее. Ещё за ночь снегу выпало. Смотришь на стену – как будто синей ручкой в белой тетрадке намалёвано: такие цвета. Ты бы видел...

P.P.P.P.P.S. А Артёму в итоге нос сломали: он чью-то барышню, кажется, поцеловал, из-за этого поднялась суматоха, драка, а кого-то забрали в отделение: никто ведь не знал, что мы из академии ФСБ.

P.P.P.P.P.P.S. Ты приезжай к нам в это лето, как с защитой покончишь. Ты диплом ещё не начинал? Как твои лите-

ратурные экзерсисы поживают?

*Твоя Тани*

Я сидел на кухне, пил чай, наглаживал кошку и перечитывал письма своей петербургской подруги. Это она предложила – писать друг дружке бумажные письма. Разумеется, я с радостью на это дело закивал.

А в то лето я к ней так и не приехал.

## V

Без аджики Шелобей делался зол как нигилист. Говна из-под колена! И что теперь на бутерброд мазать, ну?

Тягомотина жизни опять наступала на пятки, сна в голове не осталось – как ни тряси. А как спалось! Шелобей был вошью, пересекавшей океан в подмышке рыжего кота, которого из жалости почтенный старец боцман... Раскладушка прорвалась с краю и ужалила Шелобея в бок железной хреновиной.

Нищий холодильник, немощная раскладушка и стол, о который постоянно бьётся голова, – как ни проснись. Каждый день состоит из солнца, какого-то количества часов, нескольких простых и доступных вещей – и какой-нибудь одной недосыгаемой. Для Шелобея уже несколько недель недосыгаема была Лида. Проснулся – сразу к ноутбуку. «Доброе утро!» – написал (а она в сети). Выпил воды из-под крана (стаканы только гранёные), добавил: «Как ты?». Полежал, послушал, как жалобно скребутся лопатами дворники под окном (печальные вестники утра). Скинул Лиде песенку группы «Ноль». Послушал эту песенку сам... Две-три фотографии лайкнул.

Ни фига.

А вообще-то у него билеты в «Октябрь» на премьеру Триера сегодня!

Пока Шелобей слушал «4 Позиции Бруно», ожидал непойми чего, ходил, лежал, резал хлеб и горестно плевался – всюду на него смотрела зажигалка: она шептала: «Закури, Шелобей, ну закури!» (Тут уже фантазирую.) Палёный чёрный «крикет»: стёртые буквы на боку. И на кой хрен вообще подделывать зажигалки?.. Шелобей время от времени предпринимал рейд по магазинам в поисках настоящего розового «крикета» – нету, нигде, совершенно. У него, конечно, оставался один – из Петербурга – на чёрный день... Его-то Шелобей из ящика и достал.

В уме – арестанты ходили по кругу. Сами собой – нахально, самочинно – вспоминались секунды вечности у Лиды на груди: лежать там и слушать: бум, бум. А потом поднять голову, поймать её взгляд – и увидеть, что между вами километры. Нет, это дело надо закурить. Но не на кухне, а то опять придётся проветривать и сидеть в пальто, очужело, – как на вокзале. И так ребята жаловались вчера, спину им фуфлыжную, видите ли, продувает. А вот поспали бы на раскладушке! Хорошо, что есть подъезд.

На лестничную клетку какой-то умник выволок шкаф: надеялся выбросить, а потом, видно, забил. Потихоньку на свободных полках появилась какая-то корзина, стопка тяжелых стеклопакетов, произведённая в пепельницы банка из-под оливок, надпись 4:20 маркером и ненужные книжки. Шелобей оценил улыбку случая и повадился на этом шкафу курить (так интереснее).

Вдруг, он остановился – (дверь хлопнула громко) – на шкафу сидел и курил белобрысый паренёк. На нём были говнодавы, джинсы, прохудившееся пальтецо – и больше ничего (впалая грудь белела). Сам он был тонкий, почти прозрачный лицом: лихой самонадеянный нос, пушок над губой и невозможно раскидистые уши. Походил он не на мальчика даже, а на некрасивую девочку (впрочем, и в качестве мальчика он был некрасив). Курил неумело, с каким-то апломбом, и беззаботно разбалтывал ногами.

– Толя Дёрнов, – представился он, важно прерывая качание ног.

Шелобей стал у занятого места. Незакуренная сигарета как-то сама выскользнула изо рта в пальцы:

– А я Шелобей.

– Я знаю. Так-то я к тебе приехал.

– Ко мне? – Шелобей прищурился недоумённо.

– Тебе Жека разве не писал? Дела-а! Я-то думал, будет где вписаться.

Сумрачно и неправдоподобно, Шелобей припомнил Жеку из Красноярска. Кажется, что-то такое он писал – с месяц назад.

– А сам Жека где? – Шелобей сунул сигарету за ухо.

– Жека уже в Гамбурге. А ты сам не переживай, я сосед ненапряжный, семь дней могу вообще не есть. – Дёрнов размахивал рукой с окурком. – Чего стоишь? Тут места – завались.

Не сразу и кряхтя, но Шелобей вскарабкался на шкаф (тот заходил ходуном). Плечом Шелобей упёрся прямо в ворсистое пальто Дёрнова.

– Хорошее место! – заметил Толя. – Чёткое.

Шелобей улыбнулся вяло, но всё-таки спросил:

– Тебе лет-то сколько?

– Семнадцать с половиной. В мае восемнадцать будет.

– Ты... в школе же учишься, да? На каникулы приехал?

– Нет, конечно! – там зона сплошная. Я заманался, и ушёл.

– А родители?

– У нас разные взгляды на жизнь, я свалил от них. Вообще, я анархист. – Он кашлянул. – Ну. Немножко.

Шелобей рассмеялся, – но тут же сделался очень серьёзный:

– А основная деятельность?

– Бунт.

Толя Дёрнов прыгнул на бетон подъезда и заходил (шкаф опять закачал, Шелобею пришлось упереть ладонь в потолок).

– Жить в мире без свободы и есть бунт. – Толя потянулся.

– Ну, Камю философ-то фиговый, – улыбнулся Шелобей, выживая сигарету из-за уха.

– Я не читал. А надо? Да ты кури-кури, – расхаживал Дёрнов. – А ты, кажись, и не хочешь.

– Вообще-то я покурить сюда шёл.

– А слабо не курить? Два года не курить слабо?

– Не слабо.

– Ну-ну.

С уверенным видом Шелобей дел сигарету за ухо. Дёрнов расхаживал, заложив руки за спину, и насвистывал «Марсельезу», Шелобей внимательно оглядывал зелёные дурнотные стены, потолок, сходящийся, как будто гроб и насвистывающего Дёрнова. Так длилось минуту или две. Шелобей вдруг почувствовал себя ужасным дураком и закурил.

– А-ха! Попался! – Дёрнов рассмеялся (смех у него был противный и визгливый: как-то «хя-хя-хя-хя»). – «Как убивали, так и будут убивать!»

– Это откуда?

– Летов, – ответил он, ни секунды не удивляясь невежеству Шелобея.

А тот затянулся: сигарета млела и трещала.

– Не люблю Летова, – сказал Шелобей. – Как музыкант, Лёня Фёдоров гораздо интереснее.

– А я прусь нещадно: потрясает до глубины души и ваще. Мне кажется, это Достоевский в русском роке.

– Пф. Достоевский... – пробормотал Шелобей (и снова почувствовал, как внутри арестанты заходили по кругу.)

Они молчали. Дым расплзался клубами и кольцами: он растекался и своими ужиками норовил залезть куда-то в уши. Дёрнов сел на ступеньку.

– Делай, что хочешь, – сказал он, щеками уместившись на кулачках.

– Чего?

– Делай, что хочешь, – повторил Толя и улыбнулся зубасто.

– Типа императив?

– Ага.

– Так просто?

– Да ни фига! – Дёрнов встал и взялся ходить опять, дирижируя мысли указательным пальчиком. – Засада же в чём главная? На самом деле – не так много ты и хочешь. Люди почему убивают и грабят? Потому что думают, что хотят убить и ограбить. А они не хотят. Хочется же того, чего нет... Вот эту сигарету, – Шелобей зажёл уже вторую, – вот эту сигарету ты разве хочешь курить?

– Не очень.

– Ну и вот.

Помолчали.

– То есть, надо сесть и подумать, чего я действительно хочу? – спросил Шелобей.

– Если хочешь, – ответил Дёрнов.

Тут Шелобей не удержался и опять рассмеялся, – но тут же раскашлялся. Он затушил бычок о стену (оставив угрюмый чёрный ожог) и аккуратно спустился со шкафа (Толя оказался ему по плечо).

– На сколько, говоришь, тебя вписать? – спросил он Дёрнова.

– Недельки на две. Освоюсь – так и свалю.

Они прошли в квартиру, на кухню (Дёрнов хлопнул дверью так, что стекло грохнуло). Шелобей бросил пельмени в кастрюлю и поставил чайник (потом Жеке напишет). Толя Дёрнов, плутовато поджав губы, оглядывал кухню, как бы подумывая, чего бы здесь умыкнуть (хотя умыкать-то было нечего – разве гитару в пылящемся чехле и совковую крутилку для винила в чемоданчике): он всё хватал какие-то перечницы, кружки и магнитики с городами России (хозяйские). Потом схватил зацветавшую картофелину в красивой пиалочке:

– А это что? – спросил Толя развязно.

– Да так... – Шелобей улыбнулся. – Положи на место, пожалуйста. – Он уселся на табурет. – Ты чего в Москве делать-то собираешься?

– Ну как... Жить.

– И нести анархию в массы?

– Ну не, это старьё. Мы отпечатали несколько прокламаций в Тбилиси – так я их сжёг. Сайт ещё делать пробовали, но его ж раскручивать надо, опять капитализм, невидимая рука – и ну нахер. Я от армии скрываюсь.

Толя Дёрнов плюхнулся на раскладушку.

– Погодь. – Шелобей пытался собрать мысли в кучу. – Прокламации? Армия? Тебе же семнадцать.

– Ну так заранее. Не хочу в шкафу ныкаться.

Чайник щёлкнул: престарело вздохнув, Шелобей разлил чай. Дёрнов (всё не снимая пальто) держал чашку как турк-

менский хан:

– А спать я буду на подоконнике. Там батарея, тепло. Ты мне подушку дай только, а я пальтом укурюсь.

Неохотно, Шелобей сходил за подушкой.

– На. – Он протянул подушку и футболку. – А то чего как бомж.

– Я не бомж, я закаляюсь.

Чай хлебали шумно.

– Я, знаешь, думаю, от амбиций это всё. – Отставив чашку, Дёрнов закинул руки за голову и раскинул локти доверчиво.

– Что – всё?

– Тоска по недостижимому. Все ж рокерами, миллионерам, нобелевскими лауреатами быть хотят...

– Ну не скажи, – Шелобей ухмыльнулся криво. – Не все.

– Ты сам-то кем хочешь быть?

– Никем.

– В смысле?

– Ну. Ты говоришь, все хотят быть кем-то. А я, значит, буду никем.

Дёрнов подскочил даже:

– Вот это я понимаю, ужас и моральный террор! И как? Получается?

– Да ни хера.

Не без досады, Дёрнов улёгся опять.

– А вот как думаешь, – спросил Толя у потолка, – кто первый панк был?

– Арнольд Шёнберг? – предположил Шелобей.

– Кто это? – Толя нащурился.

– Композитор-авангардист. В двадцатом веке жил.

– Хя-хя-хя-хя-хя! Ну ты дал! Нет, первый панк был Христос. Сам подумай: «Не мир я вам принёс, но меч»; «Царство Небесное силой берётся». Умер молодым. Ну, относительно... Кто-нибудь вообще видел, чтобы он мылся?

– Как минимум, когда его Иоанн Предтеча крестил.

– Ну так один раз – не считово. Вот ты Летова не любишь, говоришь. А ты «Сто лет одиночества» слушал?

– Фрагментами.

– Значит, не слушал.

Почти два с половиной часа они слушали этот альбом (Дёрнов постоянно останавливал и давал обстоятельнейший комментарий). Шелобей не очень себе в этом признавался, но две песни («Вечная весна» и «Свобода») ему даже понравились (в «Весне» ещё перкуссия такая странная, а перебор – как будто вечный поезд в никуда). За это время успели проснуться Тимур (бурят) и Руслан (подозреваемый в терроризме). Они зашли позавтракать и выпить чаю (это был «день тройного выходного»), – а нарвались на лекции Дёрнова об идиотизме Бакунина, имбецильности Прудона и слабости Кропоткина. Тимур был курьер, а Руслан работал в магазине «Лего». На всякий случай, Шелобей перевёл разговор на кино, включил БГ и отвёл Тимура в сторону.

– На две недели? – Тимур округлил, как мог, свои хит-

ро-прищуренные глаза и стал окончательно похож на инжир.

– Да под мою ответственность! Ты ж Руслана подселил, так что и я... – Шелобей смутился. – Еда, одежда – всё за мой счёт.

– Да у тебя типа деньги есть! – Тимур рассмеялся, хлопнул Шелобея по плечу и проследовал в кухню. Что этот вздорный мальчуган ещё расскажет?

Разговоры о том, что в Америке нет кинематографа, проповеди о том, как нужно трахнуть по государству, лекции про русский рэп и новый ренессанс... Когда всем оскучило любоваться на Дёрнова, ребята засобирались (вечер ухнул за окном): Тимур – на свидание, Руслан – в бар. Шелобей хлебал холодный чай и кумекал, что же ему делать с этим Дёрновым теперь. План отомстить Лидочке родился внезапно.

– Слушай, Толь, – сказал Шелобей. – А на новый фильм Триера не хочешь сходить?

– Он немец? Погнали. Люблю немцев – они шарят.

Собрались быстренько. Шелобей вручил Толе ключ и нахлобучил на него свою шапку. Шесть часов? Отлично – как раз успеют.

В лифте встретили соседа сверху, усача-саксофониста. Шелобей здоровался с ним за руку, но кроме «здрасьте» и «до свидания» никогда ничего не говорил. Вслед за Шелобеем, Дёрнов деловито протянул соседу руку и кивнул. Ехали в несуразной тишине. То ли от скуки, то ли по непосед-

ству, Дёрнов скрёб только что выданным ключом по двери лифта. Вдруг – он ткнул ключом прямо в щель. Лифт встрял.

– Толя, блин! – крикнул Шелобей, но на подзатыльник не решился.

– Мы разве куда-то торопимся? – обернулся Дёрнов.

Пока Шелобей тыркал кнопку с колокольчиком и пытался вызвать лифтёров, Дёрнов набросился на саксофониста, и уже скоро они взахлёб толковали за политику («Вы знаете, что такое Иван-чай? Его можно растить на экспорт и зарабатывать дикие деньги! Но нет же – у нас есть не-е-ефть»). Свет погас: всё располагало к обсуждению музыки. Пока Шелобей брыкался с кнопкой – те двое перетёрли за Дэйва Брюбека и Чарльза Мингуса.

Они почти уже дошли до основ государственного устройства, когда дверь сама открылась и все вышли на четвёртом этаже. Спустились по лестнице – подъездная дверь отлетела. Надевая шапку, усатый сосед позвал ребят как-нибудь выпить пивка, – и исчез в непогоде.

Шелобей вообще в Перово живёт. Места отрадные, милые, добродушные, – а впрочем, и стрёмные (и очень советские). Возле Шелобеева подъезда дети вылепили снежных бегемотиков – три штуки: задумчивой стайкой они куда-то шли – по всей видимости, на юг. Но вероломный кто-то (возможно, собака) помочился на них – так что теперь у подъезда ютились три обоссанных бегемотика.

– Нам куда? – спросил Дёрнов, вжимаясь в воротник.

– Вон. Туда. – Шелобей указал.

Они шли глухими дворами, облезлыми дорогами и серыми, натоптанными, скользкими, сучальными тропинками

– Индустриальненько, – заметил Дёрнов.

Шелобей многозначительно застегнул последнюю пуговицу и нахохлился.

Вьюга пугающе стлалась по безлюдному асфальту: ноги шумно шаркали, готовые в ней утонуть. Ветер трудился весь день: сугробы у него получались с точёными скульптурными краями. Верёвочки вьюги – выписывали туманные узоры.

Не без улыбки, Шелобей заметил, как Толя вытащил палец из кармана и нарисовал на капоте машины значок анархии.

Ночь уже набросила своё эфемерное покрывало на Перово, когда они подошли к метро. Высился безликий дом с промазавшей надписью: «Новогиреево» – и красная буква «М» реяла над спуском к станции.

Невдалеке от гранитных боков перехода стояла женщина в розовом пуховике, с белой лошадью (она была уютно покрыта зелёной попоной), и завывала – в тон ветру:

– Люди добрые! Помогите на корм! Сколь не жалко!

Шелобей уже спускался по ступенькам, когда заметил, что Дёрнова нет рядом. Он обернулся – и увидел: Дёрнов взбирается на коня.

– Толя, блин! – Шелобей побежал вверх по ступенькам.

Женщина успокаивающими пассажами дала понять Шело-

бею, что всё нормально, а всё же – цепко держалась за удила. С грацией королевича, Толя расхаживал неспешным аллюром вокруг них, как будто это ежедневная прогулка. Какой-то ребёнок даже захлопал в ладоши и стал просить маму тоже покататься. Но стоило хозяйке лошади зазеваться на Шелобей (объяснявшего, что они опаздывают в кино), как Толя своими говнодавами сжал белые бока – и унёсся галопом в переулки Перово.

Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Сначала поднять брови. Потом ошалеть. Медленно втянуть воздух. И – тупо смотреть на удаляющийся лошадиный круп (у её копыт был какой-то босой звук). Ну теперь можно и вдогон.

Они побежали. Женщина поскользнулась и упала, Шелобей вежливо её поднял, и побежал опять. Она ещё раз упала, Шелобей попробовал её поднять, но тут же бросил – и побежал дальше, дальше, уже не оглядываясь.

За поворотом на Metallургов дыхание кончилось. Немоощный, Шелобей бухнулся в сугроб и стал искать зажигалку: сигарету он курил напополам с ветром. Хозяйка тоже доползла: она села в сугроб и разревелась. Она говорила всё, что полагается говорить женщине, чью лошадь украли. Он говорил всё, что полагается говорить парню, чей недруг, не-приятель, а вообще непонятно кто – украл лошадь. Но не успела сигарета закончиться, лошадь с Толей обернулись: Толя спрыгнул, залихватски протянул руку женщине, поднял её из сугроба и вручил повод, как нечто крайне

важное. Женщина с лошадыю шмыгнула и побрела обратно к метро.

– Ты где езде выучился? – Шелобей затушил сигарету в снег.

– Да в Сванетии когда жил. Ребята научили.

Дёрнов громко харкнул прямо над собой и отбежал. Ветер снёс харчок Шелобею на плечо.

– Извини, – сказал Толя.

– Проехали. – Шелобей попытался смахнуть харчок, но только размазал. – У тебя телефон-то есть?

– Зачем?

– Чтоб на связи быть. Ну, вдруг тебе опять приспичит лошадь угнать.

– На связи!.. Ты не чувствуешь грохота цепей в этом слове?

Чтобы не встречать снова ту бедную женщину, они пошли к «Шоссе Энтузиастов». Вот тут, вот тут, не поскользись! Немножко дворами, немножко промзонами, – но ничего, Шелобей-то район знает.

Три шатающихся парубка вывалились из подворотни (пятница, вечер). Шелобей взял Дёрнова за плечо и попытался их обойти, но те упорно (и как-то свирепо) лезли на их траекторию.

Все пятеро встали – кругом никого. Тишина.

Бездомный кот проорал противно: М-Я-Я-Я-В!

– Куда идём? – спросил гротескный мудака в шапке с пом-

поном.

– Домой, – промямлил Шелобей.

– Вы с какого района?

– С Перово, мы местные, – отвечал Шелобей.

– Чё-то я вас не помню. – Мудак улыбнулся.

Стояли. Молчали. Снег валился.

Кот продолжал орать как зарезанный.

Человек с помпоном вытащил нож и показал его – будто фигу.

– Давайте чё есть, – сказал он.

– С какой это стати? – взвизгнул Дёрнов. Шелобей шикнул на него.

– Налог, ёптыть. Тут типа таможни, хэ-хэ-хэ!

Троица рассмеялась. Дёрнов сперва тоже засмеялся, но понял, что зря. Шелобей полез усталой рукой в карман, искать кошелёк. Но тут – с дикой и ни на что не похожей решимостью – Дёрнов схватился за нож: за самое его лезвие. Мудак с помпоном оторопел и решительно потерял представление о том, как ему быть. Он то пытался отобрать нож, то пытался отойти, но Дёрнов не отпускал и железно смотрел прямо в глаза. Тихая кровь спокойно капала на снег и сворачивалась клочьями.

– Я же зарезу... – тихо, почти лепетал бандит.

– Мне насрать. Я анархист. – Дёрнов не отпускал.

Сила его неодолимого взгляда и запас крови в организме сделали своё дело. Человек с помпоном отпустил нож, все

трое заизвинялись, почти тут же с Толей побратались и предложили розовый носовой платок. Немного нервно, человек с помпоном (Миша) рассказал, как недавно он нашёл травмат, а мама у него этот травмат отобрала. Кончилось тем, что они все пошли к Мише домой, где Дёрнов городил очередной вздор, а Миша слушал Eagles и плакал. Это потом уже выяснилось, что Шелобей всё перепутал, а Триер только в следующую пятницу, так что билеты ещё в силе, если хочешь – вместе пойдём.

Косматые хлопья бешено крутились в воздухе и мокро оседали на без того озябший нос. Благородного кирпича, с арками и высокими окнами, – сталинки обступали нас и почти обнимали, целовали в лоб (о, эти советские поцелуи!). Холодно было и снутри, и снаружи: мы с Шелобеем как два дурака сидели на лавочке невдалеке от станции метро «Университет» и пили ледяное пиво, пока Шелобей рассказывал мне о Толе Дёрнове – хотя сейчас он вообще-то поссать отошёл.

– И где этот твой Толя? – спросил я, растирая руки, синий губами (мы выпили по две бутылки; это была тупая идея).

– Да он не отчитывается, – раздалось из-за снежных тюлей на весь гулкий двор. – Ушёл утром, сказал по делам. Ну я вникать не стал.

– Странный тип...

– Ага. Я вообще не понял. – Он уже вернулся и стоял, застёгивая ремень: – Зато я в одну штуку врубился на днях.

– Какую?

– Пиво – это индивидуализм, водка – соборность.

Снег резво носился – будто духи ребячатся. Я допил последние глотки (стекло стукнуло по стенке мусорки), встал со скамьи и попрыгал.

– Ты слушал новый альбом «ГШ»? – спросил я, подрагивая.

– Не. – Шелобей приложился к пиву и сморщился. – Я вообще современных слушать перестал. Пустые они все какие-то, ну. И Хаски, и «ГШ», и, прости господи, «Айс Пик». Хочется ж чего-то настоящего, а нема. Не, есть, конечно, «4 Позиции Бруно», – но этого же мало.

Снег валился и валился – бесконечноидуший.

– Так сам и делай настоящую музыку, – сказал я робко.

– Ну как? Я же теперь «никто»... – Он допил и бросил бутылку. – Хотя «хочу быть никем» – тоже маска. Все мы смотрели «Персону» Бергмана... – Он подхватил рюкзак и сунул руки в карманы. – Короче, хер его знает. Давай, погнали.

Я кивнул, и мы замёрзшими шагами двинулись вперёд – к Лидиному дню рождения. Возле её подъезда кто-то тоже слепил бегемотиков (хотя это были скорее собаки): их пока не успели обоссать, так что они радовали гла... Погодите... Шелобей, ну ё-моё!

## VI

Пантагрюэлисты уже были в сборе (их любезно вместила в себя уютная советская двушка). Я был знаком с Лидой, кое-что слышал об Эде с Леной (собственно, это их квартира) – и ничего об остальных (Шелобей Лидиным друзьям тоже был навроде интервента). Нерешительные, мы разува-лись и ступали по островам из башмаков, стараясь не уго-дить в гигантскую чёрную лужу (что было нетрудно: обуви в коридоре было как у тысяченожки).

Низкопрекрасная, Умилённобровая – со скучающим бо-калом «Мартини» у правой щеки – нас встретила Лена:

– Да вы проходите-проходите.

Любое начинание в свои первые секунды нелепо и нелов-ко: ребёнок, явившись на белый свет, первым делом в недо-умении орёт; мужик, примеряясь, подносит кромку топора к полену; актёр, выползая из-за занавеса, сперва всё как-то мнётся – так и пирушка. Люди, которые при иных обстоя-тельствах и «приветами» бы не обменялись, кивают, вника-ют, бросают первые шутки, вяло смеются, пробуя этот смех на вкус, – и заговаривают бутылки, чтобы те развязали им языки. А дальше – глядь: попоище несётся, как неумелый лыжник по крутому склону.

Народу было человек пятнадцать или двадцать семь (арифметика пришла и заявила о своём бессилии). Комнаты

почему-то никому не нравились (хотя в одной из них расположилось подлинно сибаритское кресло мотылькового окраса с обкусанными подлокотниками) – все курили на балконе, сидели лотосами на кухонном полу и тусовались в коридоре.

А пили! Это уму непостижимо, как мы пили! Милиционеры ахали, и прикрывали рты рукою (это возмутительно!), соседи весело стучали по батареям (претендуя на индустриал-концерт), прохожие завистливо вздыхали (ах, мне б туда!) и проходили под окном, а все ханыги, забулдыги, колдыри – нам бурно хлопали в ладоши.

Мы пили как свиньи. Мы пили до положения риз. Напивались в говно, в драбадан и в дымину. Ужирались в хлам, в зюю и в сиську. Мы пили как боги. Да, именно, – боги.

Я вёл счёт: Эд выдул три бутылки пива (это всё был жидковатый лагер); Лена выпила три стакана «Мартини» со «Швепсом» и два водки с соком (банально, но эффективно); Лида высадила бутылку вина, потом ещё одну, ещё одну и увенчала всё водочным безрассудством; Шелобей пил вермут, вино, пиво, пиво, пиво, водку, вино, абсент – и догонялся сидром.

Всё это крайне важно, как это будет видно впоследствии.

Неприкаянно – как мужик с баннером «Цветы» – Шелобей ходил от одной компании к другой, попивая чей-то стакан вермута. Именинницы было не видать, да и Шелобей всё равно был без подарка.

Приткнулся он, в конце концов, в той комнате, где стоя-

ли колонки. Ребята сидели на тахте, врубали разную музыку и болтали.

– Я три слова на японском знаю, – говорила Бесконечноглупая с хвастающим видом. – «Извините», «спасибо» и «до свидания».

– Ну правильно, чё, – шмыгнул Затылкоблистательный, закинув ногу на ногу и раскачивая гостевой тапкой. – Извиняться, прощаться и благодарить – чё ещё нужно для этого ссаного общества?

– Кстати о японцах: вы слушали совместку Merzow и Boris? – окинул всех взглядом Бородохреновый. – Убойная тема. Я вообще послушал японских нойзовиков – оказывается, Курт Кобейн у них кучу фишек спёр.

– А я Skinny Puppy недавно заслушал, – перебил его Затылкоблистательный. – Они, короче...

– Так. Стоп. Если индастриал – то только Einsturzende Neubauten, – встрял Шелобей (как будто это он всех пригласил). В лицах проступило недоумение. – Как?? Вы не слушали Einsturzende Neubauten??

– Айнштур – чё?

– «Разрушающиеся Новостройки», Бликса Баргельд. Вы чё? Он от Ника Кейва ещё в восьмидесятые свинтил. Да блин, дайте я включу, это надо слышать.

Я улыбнулся и пошёл (уже слышал).

Тоже странствовал уныло: комната, комната, коридор, туалет, кухня. Тихокудрявая предложила мне коктейль «Бе-

лый русский». Я не отказался.

Забившись в угол, у холодильника сидела Лида и била ноготочком по стакану: губы – красные, как зимняя заря, рыжие дреды – разлетелись Горгоной: смеётся направо и налево, участвуя в девяти разговорах.

Они планировали поездки, зачем-то преувеличивая свою нищету (как будто до сих пор учатся в университетах), пили вино из пакетиков с трубочками (как детский сок), болтали про Джармуша, Керуака и Боба Дилана – они были битники. Но это был самый грустный вид битников: битники, застрявшие в Москве.

Перегнувшись через пять или шесть нетрезвых тел, я вручил Лиде книжку («Сатана в Горае» Зингера). Перегнувшись через то же количество тел, она сказала «спасибо» и чмокнула меня в щёку.

Лида вернулась к оборванному разговору, а я прихлебнул, облизал кофейные усы и потопал: я странствовал теперь с бокалом.

– Не хочешь пыхнуть? – из кладовки высунулась Щёкобилльная и протянула обслюнявленный косячок. За её спиной виднелись голоса (даже весёлые), я мотнул головой, показал большой палец и дальше пошёл.

В самой большой (и самой пустой) комнате, на матрасе – среди воздушных шаров, – лежал Телефонноухий:

– Алло, мам? Да. Да. Мы сидим – и нам хорошо.

В кресле сидел Заторможенноречный (он всем представ-

лялся как рэп-летописец) и говорил девушке, сидевшей на подлокотнике:

– А ещё меня по телевизору показывали....

– Ну! По телевизору каждый может. А вот если б тебя по радио показали...

На балконе всё забито – как на митинг (и все в куртках). Если высунуться в мороз улицы – можно даже различить дымчатый контур МГУ. Я стоял в комнате и через стекло видел, как открываются рты, как запрокидываются головы в смехе. Трудовая неделя – это мучение – кончилась: позвольте же людям насладиться акцизным счастьем!

Теребя эту мысль и всё фланируя, я обнаружил, что стою с пустым бокалом у комнаты, где оставил Шелобоя, а оттуда звучит «Промышленная Архитектура».

И разговор. Я вслушался.

– ...Не, я Бхагавадгиту не читал, конечно, но эта вся замута с колесом Сансары, по-моему, ничё так, – говорил Затылкоблестательный, уже захмелевший глазами (клюкнули по-богословски). – Выполнил квест – поднялся на ступеньку. Это логично.

– Ты сдохнешь и тебя сожрут черви – вот это логично. – Шелобей взял стакан вина, который ему кто-то принёс (это был я).

Потом говорили про Христа. Дальше про Гитлера. Станным образом разговор скользнул на 11 сентября 2001-го.

– Да сам Буш эти башни и взорвал, – сказал Затылкобли-

стательный невозмутимо.

– Да это ж неважно, кто именно взорвал. Хоть Путин.

– Ну да, ну да. А бомбу под советский союз Ленин подложил.

– Типа того. – Шелобей явно норовил бежать в метафизику: – Смысл в том, что человек – просто самое запутавшееся животное.

– Какая нахрен путаница, если речь о конкретном человеке?

– Конкретный человек – это и есть все остальные.

– Брехня.

– А вот и не брехня!

Спор становился всё более абстрактным. Аргументы становились всё более вокальными.

В дверь влетела Лида (она искала карты): вместе с ней в комнату ворвался запах ромашки, страдания и мýки. Шелобей как бы вспомнил, что он здесь забыл, и увязался хвостиком за ней. Лида – то ли специально, то ли правда ничего не замечая – всякий раз стремилась вон, стоило Шелобею оказаться в одной комнате с ней.

– Как дела? – сказала она небрежно, столкнувшись с ним в коридоре, когда никак нельзя было ничего не сказать.

– Нормально. А у тебя?

– Просто блеск! – И улетела в кухню.

Шелобей ещё сколько-то мялся: догонять ли? Тут он заметил меня и обрадовался компании:

– Не, ну ты видел, а?

– Да ладно тебе. Тусовка всегда похожа на вальс с препятствиями. Особенно день рождения – со всеми же хочется поболтать.

– Ну да, ну да... – Намагниченный, он пошёл опять за Лидой.

Меня вдруг выхватил Эд (немного похожий на троллейбус) и взялся расспрашивать о том и о сём. Я отвечал невпопад и вздор. Сказал, что в салоне красоты у меня и не люди как будто, а роботы: у всех ипотеки, кредиты, дети – и всякая, там, серьёзная фигня.

– Ну. Самые серьёзные люди, каких я видел, были покойники, – сказал Эд. (Причёска у него – самурайская луковича.)

– А ты кем работаешь?

– В крематории, на органе играю.

Бокал, кстати, был пустой. На водопой? На водопой! Ну давай-давай.

На кухне все слились в поэтическом экстазе и читали свои лохматые стишки. Я устроился между Шелобеем и Меднозадумчивой (ножки у неё были как у рояля).

– Ребята! Там речь на столе! – влетела Лена.

Про поэзию все с готовностью забыли.

В комнате с колонками располагался могучего происхождения советский стол. На этот постамент вскарабкивались люди и говорили добрые слова имениннице (заунывно-одно-

образно; люди вообще одинаковы в приятностях: мерзости – вот где проявляет себя индивидуальность). Речи и чоканья сами собой превратились в драку подушками и какими-то поролоновыми штуками.

Шелобей стоял поодаль от весёлого комка людей и смотрел на нас дико. Я обернулся на него: чей-то локоть въехал мне в затылок: удар, падение, отполз; не отлипая от стены – поднялся рядом с Шелобеем.

– Ты чего? – спросил я весело.

– Это какое-то безумие. Зачем они? Почему? – шептал он в ужасе. —Останови их! Пусть они замрут! Замерзнут! Не шевелятся! Навсегда! Навечно! – Шелобей пытался закрыться от них руками.

И дерущиеся как будто в самом деле стали застывать: клянись эфиром! рука с поролоновым мечом делает взмах – жадный и кровавый, – но не опускается на голову; поверженная Лида скрючилась на полу буквой «ю» и продолжает хохот; эпически изогнувшись, Затылкоблистательный ловит в живот удар и бросает подушку в неприятеля; на столе – Лена заторможенно взмахивает бёдрами в неистовом танце, с полной чашей над головой.

– Прекрати ты, – говорю ему. – Я тоже читал «Смерть в кредит».

– А там такое было?

– Ага. Когда мимо витрины суета городская несётся, а он их хочет заморозить.

Кончилось быстро. Красные, отпыхивающиеся, все ступали по перьям из раскученных подушек. Вдруг – аккорд: Эд достал гитару. Где? Где? В другой комнате? Все туда!

На полу – амфитеатр: следили за маэстро, взмахивая рюмочками и светски перешёптываясь (то есть, были громче гитары). Это был пузатый дредноут, чёрный; Эд не пел – только брэнчал: его пальцы непринуждённо бегали по грифу, извлекая затейливые соло.

– Дай сыграть, ну? – стал канючить Шелобей, убирая за пазуху уже пустеющую фляжку с абсентом.

Эд наигрывал и спрашивал, как давно Шелобей играет: гаммы наяривает или так, просто? Шелобей сказал, что просто.

– А. Я понял. Ты пошёл не по дороге нот. – Эд вручил гитару.

Шелобей только разминался, когда прибежала Лида.

– О! Давай «Лампу», «Лампу» давай! – запросила она.

Кто-то заказал «Сплина», кто-то крикнул «Давай блатную!», но Шелобей (с лёгкой надменнотцой) хмыкнул и стал играть Фёдоровскую «Лампу».

Там чудное совершенно вступление: удар по аккорду (как бы с почёсыванием), дальше палец скользит по басовой струне – и только затем звенькают нижние. И – слова:

Я столько падал...

Я столько падал – столько же вставал.

Хотелось крикнуть, но...

Шелобей споткнулся и подслеповато посмотрел на непокорные пальцы. Он начал заново: вступление, кусочек куплета – сбился.

– Там «ре», – подсказал я ему тихо.

Он молча отмахнулся и ещё несколько раз попробовал (сбиваясь всё на том же заколдованном месте). Не растерявшись, перешёл на «Дорогу» (всё Фёдоров), – но ритм убегал от пальцев, струны дребезжали пьяно. Попробовал Д'ркина – тугие аккорды и переборы не давались.

– Давно не играл просто, – буркнул он.

Всё сменило жалобное четырёхаккордие. Я сразу узнал Башлачёва.

Когда злая стужа сведужила душу  
И люта метель отметелила тело,  
Когда опустела казна...

По коже проползло ощущение неуместности. Тут как бы пьянка, весело, ты чего, блин, устроил?

Пречистой рукою сорвать с неба звёзды,  
Смолоть их мукою  
И тесто для всех замесить...

Мороз пробирался внутрь. Гитара, музыка, искусство –

ворота в надчеловеческие состояния, куда-то вон отсюда. И настоящая музыка неизбежно связана с ощущением, что сейчас вбегут люди в форме и арестуют за предательство реальности...

Да не спрячешь души беспокойное шило,  
Так живи – не тужи, да тяни свою жилу  
Туда, где пирог только с жару и с пылу,  
Где каждому, каждому, каждому станет светло...

Долетали обертона последнего аккорда: долетали и таяли. Хлопать было как-то глупо. Я огляделся: слушателей оставалось четверо (кто-то – даже дал храпу на матрасе). Лида со смутным видом встала и ушла. Шелобей вручил гитару Эду и тоже встал.

Тусовка изменила тональность. Совершенно незаметно все перепились: кто-то ещё держал себя в руках, а кто-то уже выпал.

Неловкость прошла, удаль с благодушием тоже, богословские разговорчики оставили на следующий раз, танцы оттанцевались, откровения тихо шли на убыль: подходила очередь уныния и прелести. Самые прелестные души собрались в очередь у туалета (блевать в блевательницы), иные заснули, вцепившись в приунывшие стаканы, другие уходили (их ждала прелесть проснуться дома с похмела) или же на прогулку до круглосуточного (довольно уныло, хотя и с весельцой).

В коридоре блаженно распластался на полу Звездopodobный: он вяло бормотал, не разлепляя глаз:

– Нет, вот если бы Христос подошёл и сказал: «Талифакуми», – я бы пошёл. Я бы встал и пошёл. А так – не...

Прямо над ним стоял унылый Шелобей, держа прелестную Лиду за плечи.

– Два слова. Умоляю, всего лишь два слова, – говорил он ей.

Закатив глаза, Лида сказала «ла-а-адно», и он повёл её на кухню. Два чувака в проёме переглянулись и пошли за ними: интересно же!

На кухне парочка сидела на одном табурете и жадно целовалась. Ещё трое стояли и обсуждали, какое раньше пиво было вкусное. На плите – флегматично закипала кастрюлька с сосискам.

Планировка квартиры была вся исполнена странностей: к примеру, в эту самую кухню было два хода – из коридора и из комнаты, в которой колонки. Ход в комнату был с безвкусной аркой и без дверей (их когда-то вышибли по пьяни). Роль перегородки исполнял шкаф-стенка, но слышимости это не умаляло: вполне отчётливо звучал Screamin' Jay Hawkins. Шелобея это до странности мало занимало: он был пьян невозвратно и, кажется, уже отчаялся на какое-то невиданное дело.

Из заднего кармана джинсов он с неуклюжестью выудил сложенный вчетверо листок (руки отплясывали морзянку),

бросил на Лиду убийственный и в то же время как-то умоляющий взгляд (она скрестила руки на груди и вздёрнула носом вопросительно). Зрители шептались и припивали. Двое на табуретке набрасывались друг другу на губы. Screamin' Jay Hawkins орал. Шелобей стал читать:

– Дорогая моя Лидочка (я знаю, что никакая не «моя», что «дорогая» – атавизм, а «Лидочка» – сопли, и всё же), это положение становится невыносимым. – Шелобей злобно тараторил и совершенно не отвлекался от листа. – Кажется, ты хочешь стусевать всё в ненавязчивую дружбу. Предупреждаю: не получится. По одной довольно тупой причине: я тебя люблю.

Милая моя Лида. Я люблю тебя глупо, грустно и смешно. Наивно, безудержно и по-настоящему. До потери себя, до безобразия. Я хочу орать об этом на всю улицу, – хочу кричать тебе это в правое ухо, в левое ухо, в нос: и чувствую – нельзя... Мне кажется, что я советский писатель на свидании с советской цензурой. Я не знаю, что мне делать. Я чувствую от тебя только сковывающие кости Бореи. Я боюсь, что уже не нужен тебе. Или нужен, но как-нибудь так – навроде брелока...

Чудесная и неземная моя Лида! Не хочешь говорить, что случилось, – хорошо, не говори. Ты как-то обмолвилась, что сама ничего не понимаешь, но согласишься – ты знаешь и не понимаешь, а я и не то, и не другое. Меня убивает, что ты держишь вид как ни при чём: будто мы вчера познакомились:

будто всё это можно спрятать в какой-то чулан...

Волшебная и божественная моя Лида! Это очень эгоистичное письмо: я сшил его из нитя и скулежа. Что я вообще хочу сказать? Требовать, чтобы ты не уезжала в Израиль? Это же смешно. Наверное, хотел сказать, что я очень слабый человек. Я тебя жду, Лидочка, очень жду, – но, кажется, не смогу прождать вечность. И чего тогда стоит моя смешная любовь?..

I don't care if you don't want me!

I'm yours, right noooooow!

– Джей Хоукинс продолжал орать.

Шелобей решительно был опустошён и не имел сил даже покраснеть: он прятал свой взгляд в дочитанный листок. Понимая остроконечность ситуации, я оглядел присутствующих в кухне: все они смотрели как-то мимо Шелобея и не знали, куда девать руки. Целующиеся оторвали губы и с дрожью глядели друг другу строго в глаза. Даже сосиски, всплывшие в кастрюльке, как-то сердобольно обходили взглядом затравленного Шелобея.

После оглушительно пустых десяти секунд, Шелобей длинно посмотрел на меня – и увидел в моих глазах сочувственную пелену.

Лида ушла ещё в самом начале письма.

– Извините, – сказал Шелобей и протиснулся вон, на ходу

разрывая письмо в клочья.

Молчание длилось.

Из комнаты с колонками захрипел Том Уэйтс.

Странноликий отделился ото всех и подошёл к плите. Он переставил кастрюльку – показался синий языческий огонёк. Странноликий наклонился и прикурил: в носы ударило табакком.

– Они типа репетировали что-то, да? – спросил он.

Я протолкнулся – («Да, да!») – и стал разыскивать Шелобей (его, разумеется, не было). Я вернулся в коридор и стал искать свои ботинки.

– Если хотите, можете на ночь остаться. Есть спальники.

Я скользнул взглядом вверх и понял: это Эд.

– Да нет, спасибо, – отвечал я. – Мы как-нибудь... Наверное...

– Ну как знаешь. Если что – возвращайтесь. – Он тепло пожал мне руку и покивал.

Выйдя в этот засморканный подъезд, я сразу пошёл на лестничную площадку. Шелобей сидел на ступеньке двумя этажами ниже и бессмысленно смотрел на облупившуюся краску. Я подсел.

– Не надо меня утешать, – сказал он очень спокойно.

– Я не собирался.

Молчание продолжалась. Не то лампочка, не то трубы – что-то ровно и светло гудело: казалось, что мы в китовой пасти.

Ловким движением Шелобей выудил сигарету прямо из кармана (странный навык), она надломилась пополам и бестолково заторчала табаком. Шелобей пустил её между перил. Сигарета упала неслышно.

– Иди назад, а? – сказал он.

– Да мне и тут нравится.

Я посмотрел на Шелобея: волосы у него были засалены, а на виске вздрагивала беспокойная вена. Он был похоронного цвета.

– Нет никакого мира, Елисей, – сказал он, – это всё обман.

– Не такой уж и обман.

Мой голос звучал слишком простецки. Я сам засомневался.

– Вечно так: ищущее настоящее, а нахожу проблемы, – сказал Шелобей.

Слова дрожали на его губах, а ступеньки были холодные.

– Слушай, Шелобей, я забыл сказать. Я говорил же с Лидой.

– Ой, можешь хотя бы ты не начинать?

– погоди. – Шелобей хотел подняться, но я его усадил и с настойчивостью всё держал за плечи. – Послушай, я говорил с Лидой. Она сказала, что с Израилем ни фиги не наверняка. У неё ж татуировки, они это не любят. И вообще – если захочешь, ты можешь с ней поехать. Не знаю, почему она сама тебе это не сказала.

Шелобей прижал вдруг ладони к глазам (самой пухлой ча-

стью, где кисти начинаются) и расхныкался:

– Господи, какой же я тупой...

Я сильнее сжал ему плечи – потому что ничего умней не мог придумать.

– Хочешь, – сказал я, – хочешь, назад вернёмся? Алкаха осталась ещё.

Он зашмыгал и отёр глаза:

– Ну не, это будет уже совсем тупорыло.

Я согласился. Согласился и достал телефон – посмотреть время.

– До метро ещё минут сорок... – сказал я и задумался. – Слушай. А погнали по трамвайным рельсам гулять? До метро какого-нибудь?

– Ты прикалываешься? – Он убрал ладони: глаза у него были красные, робко улыбающиеся.

– Да нет. Серьёзно.

И совершенно серьёзно мы вышли из подъезда, перебежали Ленинский проспект и путаными дворами добрались до улицы Вавилова: пойдя по рельсам (снег мелко сыпал и даль убегала мглисто), мы заорали Башлачёвского «Ванюшу»:

Душа гуляет —

И носит тело!

## VII

Рассунув по карманам силлогизмы, антиномии и горстку ностальгии, – я подходил к универу (одного препода навещать). На карнизах улеглись не долетевшие до земли сугробы, бежевые кирпичи от вечера сохмурились, а вверх стремилось шесть, семь, восемь – девять этажей.

У входа – ёжатся, дрожат и фыркают курящие студенты.

Мимо охранника – под турникетом – прямо в холл. Новогодняя ёлка (какая-то зачуханная) уже водворилась, впереди опаздывает неземная девушка с авоськой, полной остроугольных книг... Нет-нет – мне не в этот корпус.

Через обласканный снегом дворик (в котором так приятно тайком покурить) в пятый корпус (который самый убитый) – лестница, отплёвывающаяся штукатурка, трещины, украшенные скобами. «Бога нет», – надпись. «Не курить», – ещё одна. «Верните власть Медведеву!» – это третья. «Великий террорист – рычаг, могущий перевернуть миры» – эта даже с подписью: «Кнут Гамсун».

Седьмой этаж.

Половица скриплет, света нет – иду по темноте. Дверь в коридор, следующий: лампа – люминесцентная – помаргивает. Коридор плетётся вдаль, слева, справа – приоткрытые аудитории: они пусты, глухи и свет там выключен (можно завалиться спать). Я иду, заложив руки за спиной и вслушива-

юсь в удары своих каблуков. Лёгкий запах зацветающей воды, одинокие, опустелые пространства – и мысль: «В космосе нет музыки».

Семьсот сорок третья: в неё три двери, но настоящая одна (меня не проведёшь). Аудитория смежная, даже коммунальная (этот корпус – бывшая гостиница). В одной комнате – Стелькин (я, собственно, к нему), в другой – талдычат по-английски, а двери между ними нет. Столы зелёные, гадкие; стулья без спинок и ножек. (Мы с Шелобеем тут как-то пиво пили и «Голову-ластик» вместо пар смотрели.)

Шмыгнув мимо англичан, заглядываю: студенты болтают и залипают в телефоны.

– А Стелькин здесь? – спрашиваю.

– Да, здесь, – отвечает заспанная девица.

Я делаю шаг и оглядываюсь.

– Но его здесь нет.

– Да, нет, – отвечает та же.

Стою. Не знаю.

Студенты за партой болтают:

– ...А ответить надо: «Что-то я здесь одноглазых не наблюдаю».

– Ты где этого набрался?

– В школе.

– Чё-то я в неправильной школе, видимо, училась.

– Ты просто училась в школе для аутистов.

Помявшись (сесть ли?) и оглядев студентов, я вспоминаю,

что как раз хотел в туалет. На седьмом этаже только женский, а до мужского надо спускаться на шестой... Да всё равно делать нечего.

Ступаю на кафель уборной и слышу – конский храп. Борюсь со смутной догадкой, стучу в дверь. Храп даже не думает исчезать. Ещё раз, громче, – стучу. И – для уверенности – прибавляю:

– Аркадий Макарович?

Храп сменили удар, сдавленное «чёрт возьми!» и поспешное:

– Графинин, ты, что ли?

– Я, Аркадий Макарович. Вы там спите?

Он заныл:

– Мой мальчик, я напился в ужасающую срань!..

– Аркадий Макарович, там студенты ждут. Вам надо идти.

– Я не могу, Графинин.

– Почему?

– Какой-то хмырь окаянный стащил мои вещи.

– Вы голый, что ли?

– Ага, блин.

Я осмотрел свои ноги и задумался.

– Что, даже трусов не оставили? – спросил я.

– Трусы трогать не стали, работали профессионалы. – Он вздохнул с присвистом и, кажется, вскарабкался на унитаз.

Я положил пальто на подоконник и принялся расстёгивать ремень – профессору штаны нужней, чем мне.

Под дверцей я передал ему футболку, джинсы и сапоги, а сам запахнулся куртку, похожий на погорелого еврея.

Стелькин, пока одевался, рассказывал из-за двери:

– Да, блин, как всегда. Принёс Единицын коньяк пятилетний – день рождения у него там или ещё какая лабуда. Ну мы распили на кафедре... Графинин! Ну ты и дрищ!.. Да. О чём, бишь, я? А потом с Болванской две бутылки шампанского высадили. Ну, захотелось мне её за грудки пощупать. Вокруг стола бегаем, она ржёт, как свинья резанная. Потом пропёрло меня на блёв: памятуя, что занятия в пятом корпусе, – я героически попёрся сюда. О, мой мальчик! Я наблевал девяносто три бидона, я лишился всех своих внутренних, я изрыгнул целое мироздание – убрался, и уснул прямо на толчке. По всей видимости, именно тогда какой-то вшивый студиозус, пренебрегая субординацией и банальными правилами этики...

– Хам!

Дверь отворилась: Аркадий Макарович вышел шаркающим шагом, и уставился на меня с бандитским прищуром:

– Ну как?

Взгляд его был прекрасен, как руки, дрожащие поутру. Эллинский нос с аристократической горбинкой был неотразим, как бычок на детской площадке. Огромные свисшие руки были печальны, как ожирение. Изрядная борода его была ухожена, как русская деревня. С испитым лицом, напоминающий несколько бобра, он стоял в моих джинсах и в моей

футболке: незатейливый рисунок белой стиральной машинки на синем фоне и надпись «Sonic Youth». Это была моя любимая футболка – и Стелькину она была в обlipон.

– А вам идёт, – сказал я невозмутимо.

Он сделал два шага, всё пытаюсь расправить зажатые плечи:

– В какой аудитории лекция энта?

– Семьсот сорок три. Она этажом выше.

– Ага, – сказал он хмуро и исчез.

Я посидел на подоконнике, как дурак. Постоял, переминаясь от холодного пола, как идиот. Порасхаживал из одного конца в другой, как придурок. Поглядел в окошко – чёрное-чёрное. До конца пары час, если не больше... Со скуки заглянул в другую кабинку: на унитаже лежали вещи Стелькина. Я развернул чёрную футболку, на которой был смайлик с глазами-крестами и надпись – «Nirvana».

Вещи Стелькина свисали на мне, под мышками я волок куртки – свою и сине-жёлтую (лыжную) – Стелькина. Студенты всё ещё опаздывали и шелестели пуховиками, так что я надеялся проскочить под шумок.

– А! Привет, Графинин. Мы как раз про тебя говорили.

Стелькин пожал мне руку, и я отправился, усеянный взорами, к самой дальней парте.

– И вот, дети мои... – Стелькин снова сел на стол: его мыльный взгляд невозможно косил. – Получается, что трикстер – это ваш отсидевший дальний родственник. До-

статочно близкий, чтобы его не любить, но недостаточно далёкий, чтобы его спровадить...

Насколько я знаю, свою карьеру ханыги Стелькин начал, когда от него ушла жена. Ни я, ни Шелобей не могли припомнить дня, чтобы Аркадий Макарович не был пьяный или с бодунища. По университету ползали слухи, что он варит самогон – чистый, как слеза покаявшейся грешницы (истинно, истинно!). Ещё бродили слухи, будто у него в Клину есть любовница-карлица, которой он посылает все свои сбережения (ну, это басни). А ещё болтали, что он и степени-то никакой не имеет и не преподаватель он никакой, а на самом деле Аркадий Макарович – водитель троллейбуса, а здесь он просто по приколу (троллейбус он в самом деле когда-то водил: докторскую по Гёльдерлину писал прямо за баранкой). Говорили даже, что он отсидел в тюрьме пять лет за убийство (но что Россия, как не тюрьма?).

– ...Другое дело – двойник. Этот не зовёт вас грабить ломбард и висеть на виселице: он сам грабит ломбард, а висеть заставляет вас. – С пошатывающейся пьяной грацией Стелькин заходил. – На самом деле, двойничество оправдано тем, что у человека два глаза. – Он сложил руки биноклем. – Потрясающе, не правда ли? – Он уставился в свой бинокль на какую-то девицу и тут же развёл руки. – Мотив двойничества в литературе это вам не в тапки срать! Эдгар По. Гофман. Стивенсон. Андрей Белый. Набоков. Борхес. – На каждое имя Стелькин делал жест конферансье. – Да что я буду

перечислять? Вы ж ничё не читаете. Так. Про кого бы вам затереть?.. Ну давайте Достоевский и Селин. Только когда будете гуглить второго – не путайте его с ментом из «Улиц разбитых фонарей», лады?

Про Стелькина мало знали, ещё меньше – понимали. Я не уверен даже, что он действительно Аркадий и действительно Макарович. Самая популярная версия твердила, что Стелькин то ли был, то ли хотел стать актёром. Вроде как, мечтал сыграть Ставрогина, но подсовывали ему только Собакевича. Разумеется, студенты и студентки вились вокруг него стайкой, дарили взгляды, полные религиозного восторга, и то и дело бросали шапки в потолок. Помнится, кто-то спросил у него: «Почему вы до сих пор не стали президентом?». Тогда Стелькин посадил нерадивого студента на колени (остальные радостно расселись полукругом) и стал рассказывать ему сказку: не помню, в чём там дело было, но сказка была какая-то депрессивная. Вообще, Стелькин писал пьесы, но ставили их только в провинции. Он сочинял стихи, но читали их только наши студенты. Он пел песни под аккордеон, но слушали их только соседи по лестничной клетке...

– ...Автор не только уныло разыгрывает мотив допельгангера, но и ведёт хитрую игру, которую яйцеголовые филологические мужи называют «внутриязыковое двуязычие». Голыдкинское «я ничего, я сам по себе» – нужно... Для чего, дети мои? Ну! Ну! Зачем парни на попоищах на гитаре перед

барышнями играют? Для само-утверждения! Ну вот, и Бахтин пишет, что Голядкину надо утвердить себя, но поскольку никто на него не смотрит – приходится утверждать перед собой. Сначала он раздваивается изнутри, а потом до кучи раздваивается снаружи и появляется Голядкин-два. Приколливо, да? Ну, критика, конечно, «Двойника» с говном смешала... Да, в общем-то, и правда дрянь вышла, – но дрянь интересная! Кстати, когда Достоевский возвращается из ссылки и пишет «Вечного мужа» – все «не свои» слова он уже стыдливо закавычивает...

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.